

## Апрель 1860

Присоединение Савойи и Ниццы к Франции. — Сцена 19 марта в Риме. — Апрельские сцены в Палермо и в Мессине. — Сцена 15 марта в Пеште. — Кончина Брука.

23 апреля 1860.

Благодаря рассказам корреспондента газеты «Times», отправившегося в Савойю посмотреть, что и как там делается, мы теперь довольно хорошо знаем, каким порядком производилось дело присоединения, на каких данных основывалась возможность его, какие обстоятельства давали французам возможность получить уступку, а Кавуру открывали путь согласиться на нее. Факт сам по себе не важен, как мы уже говорили: Франция мало выигрывает от завладения небольшою и бедною областью, король Виктор-Эммануэль и его министр Кавур мало теряют материальных средств военного и дипломатического могущества, отказываясь от власти над савойярами. Но великие факты совершаются по тем же законам, под влиянием тех же обстоятельств и сил, как и малые: лейпцигская битва, в которой дрались 500 000 человек, происходила тем же способом и была решена теми же причинами, по каким дерутся и побеждают или бывают побеждаемы маленькие отряды в неважных стычках. Всмотревшись в дело о том, как и чем была решена судьба Савойи, мы можем, если захотим, извлечь из него материалы для пояснения того, как происходят дела, от которых зависит судьба Европы. Прежде всего прочтем рассказ, знакомящий нас с савойскими происшествиями. Корреспондент «Times'a» отправился в эту страну, лишь только стало известно, что уступка будет произведена с формальным участием самих савойяров: ему хотелось удостовериться в том, справедливы ли слухи, будто бы савойяры сами хотят присоединиться к Франции, или эти слухи, распускаемые французскими полуофициальными газетами, — чистый вздор, и савойяры находятся в отчаянии от предстоящей перемены подданства, как уверяли многие из

итальянских, немецких и английских газет. Он не за французов, он не против французов: он поехал в Савойю не за тем, чтобы судить, хороши или дурны чувства савойяров, он занят только тем, чтобы узнать, в чем состоят их чувства. Предисловием к его рассказу о впечатлениях служат воспоминания о прежнем состоянии Савойи, в которой он бывал несколько раз. До 1848 года савойяры не имели ровно никаких политических и гражданских понятий. Под патриархальным управлением они не имели ни надобности, ни возможности думать о своих общественных делах. Они любили гордиться своею верностью королю, слушались во всем своих правителей, слушались духовенства в том, что оставалось невходящим в приказания, получаемые ими от правительства. С 1848 года положение дел начало изменяться: король велел им выбирать депутатов, — так по их понятиям представлялась конституционная свобода; послушные приказанию, они выбирали депутатов и сначала все таких людей, которые слушались во всем короля и католического духовенства. Потом понемногу начали они переваривать мысль, что депутаты выбираются собственно за тем, чтобы защищать их интересы, и начали показываться в Савойе некоторые зародыши либерализма. Либерализм этот был плоховат, а главное — слабават: иначе и быть не могло у новичков; но все-таки понемногу он развивался, и граф Кавур в последние годы мог надеяться, что когда-нибудь станет Савойя выбирать таких депутатов, которые поддерживали бы либеральное правительство; впрочем, нельзя было рассчитывать на скорое исполнение такой надежды: савойяры изменялись — это правда, но изменялись медленно, и двенадцать лет не успели много изменить их. В такую-то страну поехал корреспондент «Times'a» разузнавать, что она думает, чего она желает, или, по его собственному полунасмешливому выражению о себе, поехал отыскивать предполагаемое савойское движение. Послушаем же теперь, что нашел он и как шло при нем дело:

*«Анси. 25 марта, вечером.»*

Вот и в Анси я, новый Жером Патюро, отправившийся искать савойского движения. Исполненный веры, подобно своему первообразу, я нисколько не обескураживаюсь тем, что мало успеха имели мои поиски в южных долинах Савойи, и теперь направляю свой путь к северу, не останавливаясь за дождем, градом, ветром и снегом, согреваемый надеждою найти, наконец, предмет моих исканий. Ныне день выборов, и выбранные депутаты должны выразить желание Савойи решить будущую судьбу родины своими голосами. Какая торжественная минута! какая ответственность! какой шанс мне увидеть все народные чувства на моем пути! Вот мысли, теснящиеся в моей голове, высунутой в окно вагона, везущего меня в Э-ле-Бен. От этих мыслей я становлюсь торжествен духом, как будто сам я савойярский патриот, как будто в моей руке один из тех избирательных билетов, которые решат участь этих гор и этого болотистого озера, тянущегося налево, и этих косогоров с их виноградниками и крытыми черепицей домиками, быстро мелькающих направо.

Поезд останавливается, кондуктор кричит: Бен! Бен! Я беру свой сак и плащ, решаясь сам во что бы то ни стало тащить их со станции в город: я не могу вообразить, чтобы хоть один из свободных савойских граждан, занятых мыслями о предстоящей перемене, нашел время прислужить неважному человеку, приехавшему в вагоне, и снизошел отнести его сак в гостиницу. Но я был приятно изумлен, услышав знакомый крик множества голосов, который встретил меня по-старому: «пожалуйста сюда, мсье; угодно вам дилижанс? — угодно вам экипаж? — угодно вам ехать в гостиницу?» — и множество других предложений. Я бросился в город, чтобы, не жалея ни ушей, ни глаз, видеть все, слышать все, что только можно, пока отправится дилижанс в Анси. Разочарование, навеянное на меня бессмысленною беззаботностью савойских граждан в такой великий день, несколько затихло, когда я сквозь аллею тополей, ведущую к городу, увидел множество людей, очень важно расхаживающих по главной улице. Везде в других городах жители плохие патриоты, но мало плохих патриотов в городе Э-ле-Бен, — так я подумал; но передумал в следующую же минуту. Оттого ли, что они приняли меня за своего ноного подпрефекта и мой шотландский плащ за мундир, а мой зонтик за символ моего сана, или отчего другого, но политическое торжество их было значительно расстроено моим появлением. Я решительно был на их глаза интереснее присоединения к Франции или отделения от Сардинии. Они зорко смотрели на меня, стараясь угадать, есть ли у меня намерение и средства истратить в их городе несколько пятифранковиков. Я был для них даром небес в это зимнее время, когда перепадает им так мало денег: каждый забыл отделение и присоединение, думая о том, нельзя ли отделить какую-нибудь монету от моего кармана и присоединить к своему. Это было убийственно. Я спрашивал о их мнениях, они спрашивали меня, не закажу ли я обед. Я спрашивал, кто их кандидат, они спрашивали меня, не хочу ли посмотреть римские развалины. Если бы вера моя не была тверда, я немедленно воротился бы в Шамбери. Но я только пофилософствовал о деморализующем влиянии иностранного золота на простые неиспорченные сердца, завернулся в свой плащ и взлез на дилижанс, готовый везти меня в более первобытные страны.

Вставившись под дождем по грязной дороге на Биольскую гору, экипаж остановился и был тотчас же окружен людьми, привлеченными необыкновенностью того события, что явился путешественник в такое время года. Вид у них был такой почтенный, что я ободрился духом и спросил, кто их кандидат и тот ли кандидат выбран, какого они хотели? *Ma foi\**, не знаем, — сказали они: — погода была так дурна, что мы не ходили узнавать, что делают горожане. Я снова утешился мыслью, что люди тут уже слишком первобытны; лошади отдохнули, и мы поехали по шоссе к Альбану и Капо-дель-Мандаменто.

Тут опять была чуть не целая толпа у станции и табачной лавочки; одинокий жандарм (пьемонтский) был тут самой видной фигурой. Я зашел в трактир, велел подать бутылку вина и спросил о новостях.

«Вы, мсье, должны знать их лучше нас; говорят, что в Шамбери французы?» — «Что же, нравится вам эта перемена?» — «Не нам, простым людям, говорить, что нам нравится, что нет».

«Пошел!» — было невольным ответом разочарованного энтузиаста, и мы поскакали в живописную деревушку Альби, где переменили лошадей. С неутомимостью, достойною моего первообраза Жерома, я возобновил штурм и вступил в разговор с людьми, которых воскресенье собрало перед трактиром. Спрашивать их было все равно, что спрашивать кривого безносого крестена, запрягавшего лошадей: я добился от них столько же толку.

Я был порядком обескуражен, и если бы кстати не поднялась буря со

\* По правде сказать. (Прим. ред.)

снегом, отвлекшая мое внимание от великой мысли савойского движения, я чувствовал бы себя разбитым наголову. Но облачное движение оживило мою энергию и, отступившись от расспросов у бедных ничего не знающих поселян, я решился испытать счастья в Анси, самом деятельном из савойских городов, гордящемся тем, что имеет хлопчатобумажную фабрику, имеет стеклянные заводы и по соседству каменноугольные копи. Перед заходом солнца показались мне вдалеке высокие трубы его заводов.

Ожидание не обмануло меня. В Анси положительно было больше следов движения, чем в Шамбери и других городах, а моею целью было найти какое-нибудь движение, — французское, сардинское, швейцарское, — все равно, лишь бы движение. Все в Анси были заняты этим делом, потому не трудно было вступить в разговоры о нем. Первым, что я услышал, были жалобы на пьемонтское правительство, которое в своей итальянской политике почти забыло о древнейших наследственных владениях, вспоминая о них только за тем, чтобы брать с них солдат и деньги. «А взамен за то ничего не делает для нас. Давно обещались провести железную дорогу в Анси, а до сих пор еще и не начали ее, и провоз наших изделий в Пьемонт очень убыточен». Это недовольство ободряло людей, действовавших в пользу Франции. — «Стало быть, вы теперь довольны, что присоединяетесь к Франции и что будет вам построена железная дорога?» — сказал я. — «Нас разоряют, мсье, — отвечали мне: — мы сбываем свои стеклянные товары в Пьемонт, где таких не умеют делать. А с французскими стеклянными товарами, которые теперь пойдут к нам, наши не могут сравниться. Кончится, вероятно, тем, что нам придется закрыть свои заводы. Кроме того, нам придется дорожке платить за колониальные товары, которые мы получали из Женевы». Не только торговцы, но и частные люди по предусмотрительности сделали большие закупки этих товаров, чтобы уйти от убытка хотя на первое время. — «Стало быть, у вас большая торговля с Женевой?» — «Да, Женева ввозит к нам на 7 или на 8 миллионов франков товаров своих, английских и немецких». — «Стало быть, вам хотелось бы присоединиться к Швейцарии?» — «Нет, ведь мы все равно лишились бы сбыта в Пьемонт». — «Так чего же вы желаете?» — «Мы теперь не стали ничего желать, потому что все решено и правительство отдало нас Франции». — «Но по крайней мере вы постарались ныне выбрать депутата, который выразил бы ваши желания?» — «Нет, наш кандидат бросил нас; он ушел с депутатскою в Париж. Знаете, все эти адвокаты и наши чиновники на французской стороне: они надеются, что им за усердие заплатят орденами и хорошими должностями. Одному обещали место подпрефекта, другому должность префекта, третьему — помощника префекта, а крестов раздадут целые сотни».

Ясно, мой собеседник был фрондер. Я подозреваю, что он имеет дела по хлопчатобумажной фабрике. Посмотрим на другую сторону дела. Оно обернется к вам другой стороною, если вы поговорите с человеком, имеющим дела по каменноугольным копиям или по лесной торговле. Он скажет вам, во-первых, что привык не скрывать своих мнений, что он по сердцу и по душе такой же француз, как по языку; что он не хочет дольше подчиняться итальянской политике Пьемонта, не хочет, чтобы его руками другие загребали жар, что савойская промышленность теперь связана, что ей теперь открыт один сбыт в Пьемонт, куда нельзя по дороговизне провоза сбывать через Альпы сырые продукты, составляющие главное богатство Савойи, а Франция будет для них готовым и близким рынком. И как только построят железную дорогу, страна процветет.

Вот вам обе стороны дела: ту или другую выставляю перед вами, смотря по тому, с кем вы заговорите. Правда, некоторое движение есть в Анси, но какого оно рода? — самого низкого. Ни та, ни другая партия ни слова не говорит о различии в учреждениях: нет ни искры чувства, место которому было бы выше желудка, алчного центра нашей животной природы.

Расскажу еще один случай, — грустно мне рассказывать его, потому что он предвещает недоброе. В день выборов французская партия давала обед: в городе тогда было проездом человек восемь французских купцов: их пригласили на обед; они все отказались, заметив: «добрые люди, вы сами не знаете, чего хотите. Мы испытали эту вещь и уверяем вас, что скоро вы расклетесь».

В девять часов вечера идет почтовая карета в Женеву. Об Анси я написал уже довольно, в следующий раз скажу вам, что говорят в Женеве о Шабле и Фосиньи».

«Женева, 26 марта.

Вы поверите моим словам, что почтовая карета, ходящая из Анси в Женеву, не слишком удобный экипаж и что на Сионе чрезвычайно холодно во время выюги. Но я невозмутимо ехал отыскивать савойское движение и только на станции в Крюсоло, где мы переменили лошадей, мое спокойствие было нарушено несколькими людьми, стоявшими на круглом крыльце и громко кричавшими: «победа!» Это были партизаны Франции, торжествовавшие удачу на выборах. Они громко объясняли выгоды, какие получит Савойя от присоединения к Франции. Этот панегирик пришелся не по вкусу двум другим людям, бывшим на крыльце, и начался спор. Тут в первый раз увидел я внимание и к политическим учреждениям. Противники присоединения заговорили о жандармах, о личной свободе и о политической свободе, которая вся погибнет от присоединения.

Сионский хребет совершенно отрезывает Фосиньи и Шабле от остальной Савойи. Я очень доволен тем, что переехал его, и могу вам рассказать о чувствах жителей в этих нейтрализованных округах. Я уже и прежде слышал отголоски швейцарских опасений и криков, полагал, что население Шабле и Фосиньи не так равнодушно, как уверяли меня в южной Савойе, но я не предполагал, чтобы волнение в Швейцарии было так сильно и чтобы желания северной Савойи получили такой определенный характер. Оба эти обстоятельства заслуживают внимания.

Я еще не был в Шабле и Фосиньи и не могу говорить о собственных наблюдениях; но передо мною лежит печатная декларация жителей северной Савойи, требующая присоединения к Швейцарии и посланная ко всем державам, подписавшим трактат 1815 года. К этой декларации пришиты 152 страницы, на которых находится 11 502 подписи, собранные во всех кантонах нейтрализованных округов. Эти подписи были собраны менее чем в восемь дней, с 8 до 16 марта. Может показаться странно, что не позаботились об этом раньше; но вспомните, что до появления ноты 24 февраля Франция не заводила формальной речи об уступке, а когда Швейцарский союзный совет поручил своим дипломатическим агентам сделать представление по этому делу, то Франция даже отвечала, что о савойском вопросе в настоящее время нет речи и что если бы он возник, то Шабле и Фосиньи были бы уступлены Швейцарии. Введенные в обманчивую беспечность, нейтрализованные округа и Швейцария не думали, что им грозит опасность. Они были пробуждены только объявлением, сделанным в Анси и Шамбери 8 и 10 марта, говорившим савойскому народу, что он приглашается выразить свое желание или нежелание присоединиться к Франции, и ни слова не упоминавшим о Швейцарии и об ее правах на нейтрализованные округа. Только тогда стали устраивать манифестацию в северной Савойе, собирать подписи к объявлению о том, что северная Савойя желает присоединиться к Швейцарии, если не может остаться соединена с Пьемонтом. После того как эта декларация была напечатана, собрали к ней еще более тысячи подписей, так что свое согласие с ней выразили 12 600 человек в округах, имеющих всего населения около 160 000 человек. Я сам поеду в эти округа и не стану теперь тратить время на отгадывание того, до какой степени сильно в жителях желание, свидетельствуемое этою декларациею».

«Бонвиль, 27 марта.

Целый день я провел в разъездах по всем сколько-нибудь важным местам нейтрализованных округов, был в Тононе, Дувене, Анмесе, Бонвиле, и т. д., и у меня не осталось сомнения в том, что здесь имеет действительную силу савойское движение, которого почти не существует в остальной Савоие. В северной Савоие жители гораздо живее, чем в южной, они, кажется, готовы встрепенуться из своей дремоты; это надобно приписывать тесным их связям с Женевею, оставшимся не вовсе без влияния на характер народа и пробуждавшим в здешних савоярах чувство независимости. Но все-таки не думайте, чтобы политические соображения говорили в них сильнее по этому делу, чем у южных савояров. И здесь материальные выгоды — единственный рычаг, движущий народными желаниями; но материальный интерес влечет эти округи к Женеве и к Швейцарии. В Швейцарию текут реки северной Савоии, в Швейцарию идут и продукты ее. От остальной Савоии и от Франции она отделена цепью гор, проезд по которым всегда труден, а зимою часто и невозможен. Сообщение с светом здешние долины имеют через Женевское озеро: по нем получают они немногие товары, ими потребляемые, по нем приезжают к ним и путешественники, служащие для них главным источником дохода.

Потому, если бы принимать за основание суждений материальный интерес, то жители здесь все до одного были бы расположены присоединиться к Швейцарии. Но от сотворения мира всегда существовало противоречие между интересами страны и выгодами некоторых ее жителей. Оно существует и в нейтрализованных округах. Я имел случай говорить с людьми всех сословий и во всех своих поисках не нашел землевладельца или фермера, который желал бы присоединения к Франции. Если некоторые из них не так сильно, как другие, высказывали свое желание присоединиться к Швейцарии, это происходило только от робкой осторожности, которая стала совершенно понятна для меня из разговоров с людьми французской партии. Эта партия сосредоточена в городах, и центром ее служит Тонон, а главною поддержкою личный расчет чиновников, адвокатов и духовных. Приверженность этих трех сословий к Франции натуральна, потому что они проиграли бы от присоединения северной Савоии к Швейцарии, между тем как все остальные классы проигрывают от присоединения к Франции. В республиканской стране с простыми и свободными учреждениями, в стране, сохранившей самоуправление почти во всей первобытной чистоте, чиновники не могут ждать себе завидного положения. Почти все места раздаются по выборам, а не по рутине и не по связям. Надежда на повышение очень мала; небогато и жалованье в стране, где должность считается почетом, а не источником выгод. Жизнь чиновника, зависящего от народа, трудна: от него требуют не такой деятельности, какая в бюрократической машине достаточна ему, чтобы не отстать от других. Гораздо привлекательнее карьера его в могущественной, многосложной администрации, какова французская. Сколько почестей ждет тут честолюбивых мэров и их помощников! Каждый из них надеется быть подпрефектом или даже префектом. Шансы выгод для чиновничества слишком неравны, не говоря уже о том, что в Швейцарии нет крестов и денежных пожалований.

Так же плохи шансы в простой и практичной Швейцарской республике для адвокатов. В Швейцарии почти нет процессов, потому что почти все дела кончаются примирительными судами; а если и дойдет до процесса, сами тяжущиеся ведут его без адвоката по простоте судопроизводства. Сравните же с этим величественную роль французских адвокатов, с гордостью говорящих о себе, что всегда были лучшею славою великой нации. Адвокатство там карьера чрезвычайно выгодная и, кроме того, ведущая к первым государственным должностям. Присоединение к Швейцарии тотчас лишило бы адвокатов почти всех их нынешних доходов, которыми кормится множество этих людей теперь, благодаря сутяжничеству савояров:

каждый савойяр имеет теперь процессы со всеми своими соседями. Женева, город многолюдный, не имеет столько адвокатов, сколько их в каждом маленьком савойском городке. Швейцарские учреждения разорили бы их, а присоединение к Франции открывает им блестящую карьеру. Духовенство, разумеется, ужасается всякого сближения с протестантскою Женевою. Женева вместе с Берном стояла во главе движения 1847 года, изгнавшего иезуитов из Швейцарии<sup>1</sup>. Получив тут успех, она может пойти и дальше: кто знает, на чем она остановится? А император, несмотря на свои нынешние неприязни с папой, все-таки служит ревностнейшим защитником католичества.

Если взять все эти три класса по счету, они, конечно, составляют ничтожное меньшинство. Но влиянием они гораздо сильнее, чем числом. Каждый чиновник, адвокат и священник господствует над невежественным и слабым простолудином, привыкшим к слепому повиновению. И если подумать о силе, находящейся в руках этих трех сословий, то надобно назвать чрезвычайно сильным естественное тяготение нейтрализованных округов к Швейцарии, выразившееся 12-ю тысяч подписей».

«Шамбери, 28 марта, вечером.

Кончено.

Ныне, в половине девятого поутру, первый отряд французской армии, четыре роты 80-го линейного полка, вступили в город. Завтра ждут еще такого же отряда и постепенно соберется сюда весь полк. Шамбери, столица Савойи, занята войсками его величества императора французов.

Во всем этом савойском вопросе, с самого начала до конца, была одна постоянная черта, которая делает его очень курьезным: все стороны, участвовавшие в этом деле, как будто стыдились своей роли и старались тонкими изворотами прикрасить свои поступки перед самими собою. Встреча французских войск нынешним утром имела точно такой же характер. Их ожидали со дня на день, и довольно было времени приготовиться к приему. Фабриканты, изготовляющие разные принадлежности к иллюминациям (эти господа жарчайшие партизаны присоединения к Франции), принялись делать французские флаги, разные транспаранты и шкалики, но никто не покупал их: самые пламенные партизаны Франции совестились выступать вперед и не покупали французских флагов, подобно людям, мрачно смотрящим на готовившееся дело. Потому фабриканты, обманутые в надеждах, бросили делать шкалики и флаги, и когда было официально объявлено о прибытии французских войск, то не оказалось нужного запаса французских украшений.

Прокламация городского управления, говорившая о том, что Виктор-Эммануэль снизошел на желание савойяров присоединиться к великой Французской империи, также носила на себе печать смущения. На ее заголовке был герб савойского дома, а в конце ее восклицание: Да здравствует Наполеон III Да здравствует Франция! Смущение было видно и в прокламации, созывавшей национальную гвардию встретить гостей на станции. На станционном доме были поставлены флаги, сделанные наполовину из савойских, наполовину из французских цветов, с вензелем императора на одной стороне, с вензелем короля на другой. Такой же вид имели украшения на городской ратуше: старому государю уделялась половина их; но императорский герб над балконом давал решительный перевес новому владельцу. Из частных домов только очень немногие были украшены флагами и почти все они также имели такой двойной характер.

Поезд прибыл в назначенное время, оркестр заиграл *Partant pour la Syrie*\*, собравшуюся толпу убеждали приветствовать французов, французы отвечали на эту попытку приветствия, женщины махали платками, синдик произнес поздравительную речь полковнику, французы пошли в казармы, сопровождаемые национальной гвардией; за ними шла толпа, перед ними шли музыканты. Было потом сделано несколько попыток устроить демонстрации

\* Отъезжающие в Сирию. (Прим. ред.)

в честь французов, но малочисленные энтузиасты не находили поддержки в народе. Эти сцены были живою картиною савойского движения: небольшое число хлопотливых агитаторов, среди мертвой и равнодушной массы. Украшения, выставленные на домах энтузиастов, производили то же впечатление: домов этих было очень мало.

Вечером оркестр национальной гвардии играл на широкой улице, ведущей к замку. В девять часов вечера не было уже народа на улицах. Великий акт занятия Савойи французами совершился.

Теперь многие, даже из людей, желавших перемены, чувствуют боязнь будущего. Народ жалеет о прежнем положении. Ясным доказательством тому служит всеобщее неудовольствие против савойяров, отправлявшихся депутатами в Париж. Они вчера воротились, обремененные обедами, любезностями и обещаниями. Даже здесь, в южной Савойе, порицают их за то, что они предложили императору свою родину и говорили от ее имени. Савойяры по вседневной своей привычке повинуются своему королю, но не желают принадлежать Франции».

*«Шамбери. 29 марта.*

Небольшое и неудачное одушевление, поднятое вчера, теперь совершенно утихло. По расчетливости или из стыда большая часть флагов исчезла с домов. Кроме тех, которые развеваются на станции железной дороги, на публичных зданиях и на башне замка, не осталось в целом городе пятидесяти флагов. Из них значительная часть висит в окнах французского консульства. Французские солдаты ходят по улицам, не замечаемые никем.

В результате происходящих теперь выборов нет уже никакого сомнения. Избиратели явились в малом числе, считая дело конченным без их воли. Между тем на всякий случай составлен адрес, говорящий противное адресу, подписанному жителями северной Савойи: он рассылается по всей стране, чтобы его подписывали. Савойяры станут подписывать: как же им не выразить своего согласия на распоряжение, сделанное их королем?»

Это спокойное изложение фактов представляет нам в малом виде образец того, как делаются почти все государственные перемены и к лучшему и к худшему: масса населения ничего не знает, ни о чем не думает, кроме своих материальных выгод, и редки случаи, в которых она хотя замечает отношения своих материальных интересов к политической перемене, как замечала в Савойе. На этом равнодушии массы основана возможность даже самых замыслов о большей части совершаемых в политической жизни перемен. Низлагается Наполеон I и призываются на его место Бурбоны: не думайте, чтобы это было делом французской нации; что призвание Бурбонов не было делом союзных монархов — вещь давно известная. Кто же устроил эту перемену? Два-три союзных министра с Талейраном и несколькими его клиентами. Они сказали союзным монархам, что французы желают восстановить Бурбонов, и Бурбонов призвали в удовлетворение желанию французов, которые вовсе и не думали желать того. Но если так, почему же французы не сказали, что не хотят Бурбонов? Союзные монархи не стали бы делать против их желания. Французы не сказали, что не желают, потому что в самом деле нельзя было сказать, что они желают или не желают: им было все равно; им объявили, что Бурбоны не станут нарушать их материальных интересов, и они



подумали: если так, мы ничего не проигрываем; пусть дипломаты делают, как знают. Точно то же было при замещении Бурбонов орлеанской династией. Из тысячи человек один пожалел о Бурбонах, из тысячи человек один порадовался передаче власти Луи-Филиппу, остальные 998 подумали: нам все равно; пусть те, кто лучше нас знает эти дела, делают как знают. Точно так же провозглашена была республика, точно так же была потом провозглашена вместо республики империя. «Вы за кого? за Францию или за Пьемонт?» — спрашивал савойяров корреспондент «Times'a». — «Мы? да нас нечего об этом спрашивать; а впрочем, мы слышали, будто нас отдают французам». — «Ну, что ж? это приятно вам или неприятно?» — «Да нам-то что? — это не наше дело. А вот, говорят, будто французы построят нам железную дорогу, которой сардинцы не строили, — это будет хорошо». — «Значит, вы рады перемене?» — «Да нечему радоваться: еще неизвестно, хуже или лучше нам будет; вот посмотрим, так увидим». — «Что ж это значит? Значит, лучше бы вам оставаться под властью Пьемонта?» — «Что же тут хорошего? Хорошего мы ничего не испытывали от Пьемонта?» Как прикажете толковать с людьми, рассуждающими таким образом? У вас остается одно убеждение от подобных разговоров и случаев: масса просто материя для производства дипломатических и политических опытов. Кто взял над нею власть, тот и говорит ей, что она должна делать, — то она и делает. Такого взгляда постоянно держатся практические государственные люди. На этом основании управляли народом Ришелье<sup>2</sup> и Питт<sup>3</sup>, Меттерних<sup>4</sup> и Луи-Филипп<sup>5</sup>: делали, что хотели, а народы слушались. Нельзя не признаться, что этот взгляд очень близок к истине. Напрасно говорят в его опровержение, что политика Меттерниха оказалась наконец несостоятельной, да и система Луи-Филиппа тоже. Напрасно ссылаются на то, что под конец они были низвергнуты и изгнаны: что ж тут за опровержение? ведь нельзя же вечно пользоваться удачей; разумеется, когда-нибудь настанут и несчастные обстоятельства. Нынешний год пашет мужик землю — урожай хорош, и на следующий год тоже, и дальше тоже. Наконец на 29 или на 30-й год случился неурожай, — что ж из этого следует? Следует ли, что мужик плохо пахал землю? Нет, слишком 20 лет хорошего урожая показывают, что пахал он ее хорошо, а неудача последнего года просто каприз природы, просто дело случая, и система хозяйства, которой держался мужик, не компрометируется этим несчастьем. Да и посмотрим, что дальше после этого неурожайного года? — опять пошли хорошие урожаи при прежней обработке земли. Не оправдывают ли они систему мужика? Так и в истории: после Луи-Филиппа продолжалась года полтора так называемая анархия, и французским правителям трудно было ладить с раскодившеюся нацией, или

собственно даже не с нацией, а с несколькими десятками тысяч энергических работников Парижа; остальные сотни тысяч работников Парижа и других городов были уже и тогда расположены держать себя смиренно и послушно, а прочим девяти миллионам взрослых мужчин Франции никогда и не приходило в голову буйствовать и непокорствовать. Так или иначе, дурно или хорошо, прошли эти недолгие полтора года, тяжелые для французских правителей, — и дела пошли прежним порядком: правители приказывают, а вся Франция слушается, — то же самое, что было при Луи-Филиппе, только формы приказаний несколько изменились: при Луи-Филиппе в заголовке писалось: «приказы по парламентскому ведомству», а при Луи-Наполеоне пишется: «приказы по армейскому ведомству». Спору нет, заголовок дело важное, но ведь не в нем вся важность: гораздо больше ее в самом содержании бумаги, а содержание бумаги то же самое: «исправно платите подати и платите их как можно больше; слушайте прелатов, если вы католики, пасторов, если вы протестанты; в том и в другом случае слушайте префектов, которые будут слушаться министров, а министры будут слушаться кого сами знают». В Австрии даже и в заголовке перемены не произошло: через год по изгнании Меттерниха Шварценберг<sup>6</sup> вел дела по тем же самым формам, как вел Меттерних: не явное ли дело, что чистый вздор говорили люди, утверждавшие, будто бы Луи-Филипп и Меттерних ошибались в своей системе? Система их так верно соответствовала надобностям французского и австрийского правительств, что сама собою воскресла из пепла, как вечно юный и прекрасный феникс. Отбросим вздорные фантазии, обсудим дело хладнокровно и скажем: как держали себя Луи-Филипп и Меттерних, так и следовало им держать себя, так и всегда будут держать себя люди, которые будут становиться на их месте. Рассудительный человек мог бы желать разве только одного: хорошо было бы, если бы политическое правило, столь пригодное для долгих периодов внутреннего спокойствия, было дополнено каким-нибудь соображением, пригодным для предотвращения кратковременных беспокойств, которыми перерываются долгие спокойные периоды. Разумеется, Луи-Филиппу и Меттерниху было бы гораздо лучше избежать неприятностей, которым подверглись они в 1848 году. Система их, как видим, не пострадала от народного буйства; но сами они пострадали — это жаль. Почтенные старцы, привыкшие к комфорту, привыкшие к власти, были принуждены бежать без всякого комфорта. Сколько страха, сколько материальных неудобств потерпели они в ту неделю, пока пробирались в безопасное убежище из возмутившихся своих столиц через раздраженные провинции! На новом месте жительства комфорт к ним возвратился; но власть уже не возвратилась. Благонамеренные

люди уважали их, но уже никто не спрашивал их приказаний, никто не исполнял их повелений: разве легко было им такое положение? Да и французам или австрийцам разве лучше стало при новых правителях? Говоря по совести, мы далеко предпочитаем Меттерниха Шварценбергу, Баху, Буолю и Рехбергу<sup>7</sup>: они умны и добры — это так, но он был и гораздо умнее, и добрее их. Величие Наполеона III ценится нами по достоинству: но беспристрастная история скажет, что Луи-Филипп был выше его в государственном искусстве. Итак, и для народов, и для Луи-Филиппа с Меттернихом было бы гораздо лучше, если бы эти мудрые правители (то есть Луи-Филипп и Меттерних) спокойно скончались с властью в руках и без всяких неприятностей передали эту власть тем, кого сами почли бы достойным ее. Вот только заботы об этом мог бы еще желать в правителях рассудительный человек, потому что эта забота соответствует выгодам самих правителей: он мог бы желать, чтобы в долгие периоды внутреннего спокойствия правители обращали некоторое внимание на средства предотвратить всякие неприятности для себя в будущем, застраховать себя от внутренних смут. Прочтенный нами рассказ о савойских делах наводит на это средство: масса думает только о своем материальном благосостоянии, и если не будет доведена до большего неудовольствия в этом отношении, то всегда останется смирна и послушна; потому забота о народном благосостоянии, повидимому, выгодна для правителей. Так может думать рассудительный человек; но если найдется другой человек, еще более рассудительный, то заметит ему: «Друг мой, вы слишком требовательны. Вы хотите от людей нечеловеческого совершенства. Посмотрите на самих себя, посмотрите на всех ваших знакомых: у кого из вас, друзья мои, достаёт времени, средств, твердости и бесстрастия, чтобы отказывать себе в настоящих желаниях и удовольствиях для отдаленных шансов неизвестного будущего, до которого, может быть, вы и не доживете? Правители, конечно, умнее большей части из нас или даже всех нас, но ведь и они люди. У них столько дела в настоящем, столько дипломатических отношений, столько политических забот, столько финансовых надобностей, не терпящих отлагательства, что нет им физической возможности делать ныне то, от чего пользы могут ожидать они разве через 15 или 20 лет. Войдите в их положение. Посмотрите, например, сколько было хлопот Луи-Филиппу в каком-нибудь 1832 году: тут надобно биться с Казимиром Перье<sup>8</sup>, министром благонамеренным, но человеком вздорного характера: тут палата хочет сократить бюджет личных расходов Луи-Филиппа; тут пятеро сумасшедших бьют в набат на Нотрдамской колокольне, выдавая себя за республиканцев, потом оказывается, что полицейский агент подвел их на эту глупую выходку, и возникает неприятнейший скандал; тут

холера; тут умирает Казимир Перье и начинаются интриги за министерские должности; тут новые министры так бездарны, что хлопот с ними больше, чем с Казимиром Перье, а сменить их невыгодно потому, что они послушны; тут начинаются дрязги по случаю восстания и потом ареста герцогини Беррийской<sup>9</sup>; тут подрастают сыновья, надобно приискивать им невест; тут Голландия ссорится с Бельгией<sup>10</sup>; тут Мегмет-Али ссорится с Мухаммедом II<sup>11</sup>; тут сотни других дипломатических столкновений, — словом сказать, забот и хлопот столько, что голова идет кругом у Луи-Филиппа. Так проходит весь 1832 год, — досуг ли тут подумать о предупреждении неприятностей, которые, может быть, настанут когда-нибудь лет через шестнадцать — в 1848 году, а может быть вовсе не настанут? — Так проходят и 1833 и 1834 и все следующие года. При таком множестве всяких других хлопот и забот можно ли винить Луи-Филиппа за то, что недостало у него ни времени, ни средств похлопотать о народном благосостоянии? Нельзя винить его, — некогда ему было, не до того ему было; и неприятности 1848 г., произведенные крайностью народного бедствия, не могут во мнении благоразумного человека считаться справедливым наказанием Луи-Филиппу: они просто были ударом судьбы, постигнувшей человека невинного. Или, чтобы перейти к нынешним делам, когда, например, было Кавуру позаботиться о благосостоянии савойяров? Войдите в его положение. Он, по своему искреннему убеждению, гениальный министр: как же такому министру управлять таким маленьким государством, как прежний Пьемонт? Надобно увеличить его. Вот бедный Кавур прибегает к английским министрам: помогите мне увеличить управляемое мною государство! Боже милостивый! сколько ему возни было с этими проклятыми англичанами: не хотят ввязываться в чужие дела, да и кончено. Много перепортилось у него крови от такой английской бессовестности. Года полтора или два ушло на напрасные хлопоты. Приходится ему от англичан обратиться к императору французов: новые хлопоты, едва ли не больше прежних. Тут начинается Восточная война: надобно показать себя, что и мы, пьемонтцы, дескать, можем играть роль в европейских делах, надобно приобрести право на благодарность Франции<sup>12</sup>, надобно «приучить армию к победам»; кстати «армия»: Кавур хочет делать завоевания, а для завоеваний нужна сильная армия, а сильная армия не по средствам бедного Пьемонта; так, но что же делать? Сильная армия нужна, и Кавур держит ее, хотя она не по средствам Пьемонта, а денег мало: сколько хлопот придумывать средства к получению денег! — до савойяров ли тут! С савойяров не много возьмешь деньгами: хорошо хоть то, что из них выходят недурные солдаты; набирание солдат, вот почти единственное отношение между Кавуром и савойярами, допускаемое множеством хлопот,

поглощающих все мысли и силы Кавура. Если теперь оказывается, что он ничего не сделал для савойяров, можно ли его винить за то? Так, он совершенно прав. Но что же из того вышло? Вышло то, что Наполеон III мог сказать: отдайте мне Савойю; для савойяров решительно все равно, принадлежать ли вам или мне; стало быть, дело зависит только от вашего желания. Я ваш союзник, я вам делаю пользу — увеличиваю ваше государство; будьте же и вы полезны мне — увеличьте мое государство; если вы не согласитесь, это значит, что вы не расположены ко мне; других причин к отказу нет: савойяры не будут противиться. И вот Кавур, хотя вовсе невинен в том, что не возбудил в савойярах приверженности к пьемонтскому правительству возвышением их благосостояния, терпит убыток. Будь савойяры против отделения от Пьемонта, Наполеон не мог бы и требовать уступки Савойи, а теперь требует, и у Кавура нет никаких отговорок и он должен уступить.

Каждый человек, привлекающий на себя общее внимание, подвергается пересудам, в которых всегда бывает много вздора. Император французов не избежал этой участи: об нем говорят много ложного. Например, утверждают будто бы, присоединяя Савойю к Франции, он следует принципу национальности, принципу, не согласному с преданиями господствующей политики, революционному принципу: это клевета, гнусная клевета. Император Наполеон в этом деле верен принципу, составляющему основание всякой дипломатики, согласной с преданиями и признаваемой в дипломатическом мире за истинную политику. Он только хочет расширить пределы своего государства и увеличить его могущество. Какой хороший дипломат не старается о том же для своего государства? Конечно, выгоды разных государств сталкиваются в этом случае: то, что выгодно для одного, бывает вредно для другого; австрийские и прусские дипломаты совершенно правы, чувствуя недовольство от присоединения Савойи к Франции; но они не могут сказать, чтобы император французов не действовал тут по тем же самым принципам, каких держатся они. Обвинять его в системе, основанной на принципе национальности, совершенно несправедливо. Непричастность его революционным идеям, к каким принадлежит принцип национальности, доказывается всем его правлением. Кому мало этого доказательства, может найти новое подтверждение невинности императора французов в том, что вместе с Савойею он присоединяет к Франции Ниццу, город чисто итальянский, с округом чисто итальянским. Тут уже явно, что политика Наполеона III основана на принципах чисто дипломатических, а не на каких-нибудь революционных идеях, вроде принятия границ национальности за границы государства.

Дело присоединения Ниццы представляет мыслящему человеку одну черту, достойную великого внимания. Но чтобы дойти

до факта, выставляющего эту черту исторических дел, мы должны дополнить рассказ, переведенный нами из писем, помещенных в «Times'e», очерком событий, следовавших за тем временем, на котором остановился наш перевод. Еще до вступления французских войск в Савойю и Ниццу пьемонтское правительство стало постепенно отзываться из этих земель своих чиновников, заменяя их людьми, которые подготовляли бы переход уступаемых земель под новую власть. По вступлении французских войск эта история продолжалась, и, наконец, временное управление все перешло в руки приверженцев присоединения. Главною их заботою было, разумеется, то, чтобы народ вотировал за присоединение, когда будет предложен жителям вопрос, хотят ли они перейти под власть Наполеона III. Каким порядком велось это дело, можно видеть по следующему отрывку, который мы опять берем из той же корреспонденции «Times'a»:

«Пьемонтские чиновники отозваны из Шамбери и Ниццы, но Виктор-Эммануэль, неизвестно по какой надобности, соглашается, чтобы все делалось от его имени. Он назначает новых правителей: савойяров в Савойе, уроженцев Ниццы в Ницце, «чтобы нельзя было сказать, что выражены народных чувств стеснялось каким-нибудь посторонним влиянием». Правителем Ниццы назначен Любонис, «человек нейтрального образа мыслей»; он издал следующую прокламацию:

«Всякое сомнение относительно нашей судьбы кончено. Трактатом 24 марта король Виктор-Эммануэль передал Савойю и Ниццу Франции; но судьба народа должна зависеть не исключительно от воли короля. Великодушный император Наполеон и благородный Виктор-Эммануэль выразили желание, чтобы трактат был утвержден народным согласием. Перед священным словом короля исчезает всякая неизвестность относительно нашего будущего. Всякая оппозиция должна сокрушиться и стать бессильной против интересов страны и чувств долга. Притом же она встретила бы непреодолимое препятствие в желаниях Виктора-Эммануэля. Поспешим же утвердить нашими голосами присоединение нашей страны к Франции: будем отголоском желаний короля; соединимся под знаменем великой и благородной нации, всегда пользовавшейся нашим сочувствием; окружим престол славного императора Наполеона III с верностью, отличающею нашу страну, с верностью, которую до сих пор мы так блистательно показывали династии Виктора-Эммануэля. Да здравствует Франция! да здравствует император Наполеон III!»

Эти уверения официальных лиц, назначенных самим королем сардинским, что король не желает выражения верности к нему, что уступленные области уже ни в каком случае не могут не перейти под власть Франции, были, впрочем, не главным средством заставить народ подавать голоса против Сардинии. Гораздо действительнее был другой способ: каждому синдикату (мэру) было объявлено, что он будет отвечать перед императором за вотирование той общины, которой управляет; кроме того, на него возлагалась обязанность переписать людей, которые стали бы подавать голоса против Франции, чтобы представить эти списки будущему французскому начальству, а жителям общины объявить об этом, чтобы они знали опасность со-

противления. Многие находят такой способ действия дурным. Мы, напротив, думаем, что он имеет достоинство благородной откровенности: действительно, гораздо лучше вперед сказать людям, чего от них хотят и чему подвергают они себя в случае несогласия, нежели молчать и подвергать неприятностям, не предупредив о них. Само собою разумеется, что почти все поданные голоса были в пользу Франции, не только в южной Савойе, которая была равнодушна, но и в нейтрализованных округах, желавших присоединиться к Швейцарии, и даже в Ницце, для которой отделиться от Пьемонта и стать французским городом то же самое, что для Милана возвратиться под власть австрийцев. В результате савойского вотирования Франция была уверена, но относительно Ниццы были некоторые сомнения, потому вотирование в Ницце было назначено раньше, чем в Савойе, чтобы жители не имели времени разубедиться в своем мнении, будто бы их вотирование не будет иметь влияния на ход дела. Вотирование в Савойе было назначено 22 апреля (нового стиля), а в Ницце неделю раньше, 15 апреля. Остановимся теперь на этом факте вотирования.

Чем окончательно решена была судьба Ниццы и Савойи? Был уже давно заключен договор об уступке этих земель<sup>13</sup>. Сардиния уже передала управление ими французским агентам. Дело, повидимому, было кончено; но действительно ли было кончено оно? Спросим себя: что стали бы делать Сардиния и Франция, если бы жители Ниццы и нейтральных округов остались тверды в своих желаниях, если бы в нейтральных округах почти на всех билетах оказались слова: «присоединиться к Швейцарии», а в Ницце на всех билетах: «остаться в пьемонтском государстве» — что было бы тогда делать? По всей вероятности, нечего было бы делать. Надобно было бы оставить Ниццу в пьемонтском государстве, а нейтральные округа присоединить к Швейцарии. Из этого мы видим, что как бы трудно ни было, повидимому, положение, но исход дела всегда может быть изменен твердостью людей, до которых оно касается. Правда, вся трудность и состоит в том и происходит от того, что с самого начала дела оказывались они неспособны к твердости. Конечно, если бы жители Ниццы держали себя героями, которых можно истребить, но не отделить от Италии, никто и не подумал бы требовать, чтобы Ницца была отделена от Италии, никто не подумал бы и соглашаться на такое требование. Все дело было основано на том, что не предполагалось в них геройства. Они слишком хорошо подтвердили такое мнение о себе своим вотированием. Но не осудим их за слабость: недостаток непоколебимости в подобных вещах и не называется слабостью, потому что мужество в них еще не в нравах. Нашему веку не меньше или даже больше, чем прежним векам, свойственна военная храбрость; но до гражданского мужества ему

еще далеко, потому что везде на сто человек найдется разве один гражданин. Впрочем, и то уже большой прогресс. Прежде гражданин было еще меньше. Но прогресс это или нет, все-таки не слишком еще скоро мы дождемся, чтобы каждый честный и храбрый человек стал гражданином, а до той поры обыкновенный ход дел повсюду будет таков же, как в Ницце, и постоянно будет утрачиваться в долгие периоды общественной апатии большая часть тех приобретений, какие делаются в мимолетные эпохи общественного одушевления.

Уступка Савойи мало огорчает итальянских патриотов: страна эта населена французами, а не итальянцами; до ее потери нет дела национальному чувству, под влиянием которого находятся теперь все мысли итальянцев. Значительная часть либеральной партии в новом государстве Виктора-Эммануэля даже довольна тем, что отделилась от него провинция, далеко отставшая по образованности даже от Пьемонта, не говоря уже о Ломбардии и Центральной Италии, и посылавшая в туринский парламент депутатов клерикального направления, подававших голоса против всякой прогрессивной меры. Но не таково чувство, производимое в итальянцах уступкою Ниццы, города чисто итальянского: патриоты почти так же скорбят о ней, как скорбели бы о возвращении Милана под австрийское господство. Вопрос о Ницце представлял единственную затруднительную часть дела при проведении трактата об уступке через парламент. Действительно, вопрос этот был поднят раньше всех других в парламенте, собравшемся 2 апреля. Мы приведем известия об этом из писем туринского корреспондента «Times'a», сделав два-три замечания для объяснения парламентских форм, о которых он упоминает. Заседания нового парламента в королевстве Северной Италии начинаются по прежней сардинской конституции поверкою выборов. Это дело занимает несколько заседаний. Только по его окончании депутаты признают себя окончательно утвердившимися в своем звании, получившими право исполнять свои конституционные обязанности. Тогда им прежде всего бывает надобно выбрать себе президента, вице-президентов и других парламентских сановников. Только по выборе президента палата депутатов считает себя конституировавшеюся, открывшею формальные заседания. Только с этого времени начинает она совещаться о государственных делах, а до той поры занимается лишь собственным своим устройством, конституированьем под временным председательством старшего по летам из своих сочленов. Теперь северно-итальянский парламент по важности обстоятельств спешил кончить эти внутренние формальности, чтобы скорее приступить к совещаниям о государственных делах. Но все-таки они должны были занять несколько заседаний. Гарибальди<sup>14</sup>, уроженец Ниццы, нравственно обязанный быть ее защитником в парламенте, не хотел терять времени,



когда каждый час дорог, и в заседании 4 апреля, как только Кавур явился в палату, сказал, что должен потребовать объяснений об участии своего родного города. Теперь мы предоставляем рассказ корреспонденту «Times'a»:

«Генерал Гарибальди выбрал место на одной из верхних скамей крайней левой стороны, — впрочем, политические убеждения не всегда в точности выражаются местом, какое выбирает депутат в Сардинском парламенте. По правую сторону его сидит Лавренти Робанди, депутат Ниццы, человек крайних политических мнений и горячего характера. Храбрый генерал много часов сидел неподвижно, выказывая редкую терпеливость и холодность среди бесконечной болтовни своих товарищей. В половине пятого неожиданно вошел в залу президент совета министров граф Кавур; только что сел он на свое министерское место, сильный и твердый голос произнес обычную фразу: «требую слова». Это говорил Гарибальди. Водворилось глубокое молчание. Генерал в немногих словах попросил разрешения сделать вопрос министру иностранных дел. Граф Кавур с большою горячностью встал и с видимым раздражением сказал, что совещаний нельзя еще начинать, потому что палата еще не открыла формальных заседаний; он запальчиво и даже несколько грубо прибавил, что если бы даже вопрос был предложен, он не стал бы отвечать. Гарибальди настаивал. Кавур обратился к президенту, чтобы он предложил палате вотировать «предварительный вопрос», то есть объявить, что Гарибальди не может делать никакого предложения или вопроса до формального открытия совещаний. Друг Гарибальди Лавренти Робанди обратился к палате с очень горячей речью: он говорил о не терпящих отсрочки обстоятельствах; другие бурно требовали «предварительного вопроса». Меллана, член крайней левой стороны, сидящий по правую руку Гарибальди, доказывал, что нет никаких даже и формальных оснований не допускать требование Гарибальди. Палата вотировала, и значительным большинством голосов был принят «предварительный вопрос». Таким образом была разрушена первая попытка Гарибальди защищать город, в котором он родился. Кавур, очевидно, хочет выиграть время. Ныне «Орипоне» объявляет, что через неделю Ницца будет приглашена выразить свои желания посредством всеобщего вотирования; если какими бы то ни было средствами она будет принуждена вотировать в пользу присоединения к Франции, парламентская оппозиция Гарибальди будет навсегда устранена. Но Кавуру все-таки придется провести несколько дурных минут при совещаниях по савойскому делу. Гарибальди, выходя из залы, сказал с досадой: «пусть же каждый видит, какой у нас парламент».

Цель Кавура была очевидна: ему хотелось отсрочить совещания об уступке Ниццы до той поры, когда дело это уже окончится фактически. Но теперь он выиграл отсрочку лишь на одну неделю, до окончания поверки выборов. Лишь только палата конституировалась, Гарибальди возобновил свой вопрос (в заседании 12 апреля). Мы опять переводим корреспонденцию «Times'a»:

*«Турин. 12 апреля.»*

Я надеюсь, что в Англии не без интереса будут прочтены следующие подробности, которые могут служить предисловием к нынешним прениям в палате по вопросу Гарибальди об уступке Ниццы.

Новый губернатор Ниццы Любонис, автор знаменитой прокламации, смутившей даже министров, назначивших этого достойного сановника, терроризирует жителей Ниццы, чтобы они покорились желаниям императора французов. Газета «Il Nizzardo», прекратившаяся по занятии города

французскими войсками, ободрилась и напечатала еще несколько номеров, когда было объявлено, что призывают народ свободно выразить свои чувства; Любонис конфисковал газету и угрожал тюремным заключением ее редактору. Все синдикаты (мэры) получили уведомление, что каждый из них будет ответствовать перед французским правительством за подачу голосов в округе ему подведомственном. Синдикам приказано составить списки людей, которые будут говорить против присоединения к Франции; эти списки будут переданы французскому правительству. Епископ издал циркуляр, в котором объявляет, что подать голос в пользу Франции есть долг совести. Губернатор разослал своих агентов по всем сельским округам, чтобы «организовать» вотирование; этим агентам дано полномочие распускать муниципальные советы, которые не разделяли бы чувств губернатора Ниццы, жаждущего быть префектом. Здесь, в Турине, и во всей Италии уступка Ниццы печалит и раздражает каждого. Самые упорные приверженцы графа Кавура признаются, что от последних его дел популярность его упала на сто процентов. Даже Павия, один из городов, недавно освобожденных от австрийского ига, говорит в адресе, присланном к Гарибальди, что не может радоваться своему освобождению, видя участь Ниццы, и просит Гарибальди, чтобы он ободрял жителей своего родного города противиться до последней крайности.

Палата собралась в начале второго часа. Галереи были переполнены зрителями, проникнутыми напряженным ожиданием. Новый президент Ланца прочел длинную речь, потом встал граф Кавур и положил на президентский стол два проекта законов: один из них относился к договору с Францией, другой — к декрету о присоединении центрально-итальянских провинций. Вслед за ним встал Гарибальди. Сильным, ясным голосом он прочел пятую статью конституции, говорящую, что никакая часть государства не может быть уступлена или обменена без согласия парламента, и сказал:

«Вотирование, требуемое теперь от жителей Савойи и Ниццы, не имеет законности и действительности без утверждения парламента. Трактат 24 марта, уступающий Ниццу Франции, нарушает право национальности. Нам говорят, что обмен двух маленьких заальпийских областей за Эмилию и Тоскану — выгодный обмен; но продавать народ во всяком случае жалкое дело. При стеснении, которому подвергает Ниццу французская полиция, вотирование чистая насмешка над народом».

Он изложил интриги французской полиции, подкупы и угрозы, указал на объявление, изданное Любонисом, говорил о том, что сардинское правительство тайно покровительствовало всем французским пройскам, и предложил, чтобы вотирование в Ницце было отложено до того времени, когда парламент вполне рассмотрит этот вопрос.

Кавур отвечал, что трактат 24 марта не изолированный факт, а принадлежит к ряду великих политических переворотов и событий, из которых некоторые совершились, другие совершаются; чтобы дать генералу удовлетворительный ответ, сказал он, надобно было бы войти в объяснение всей нашей политической системы, но я прошу отсрочить это до того времени, когда парламент будет рассматривать трактат с Францией: тогда я изложу перед комитетом палаты положение дел и дам удовлетворительный ответ. Теперь я только скажу, что вопрос о Савойе и Ницце просто продолжение той политики, которая привела нас в Милан, Болонью и Флоренцию. Если бы мы отвергли этот трактат, мы подвергли бы опасности все наши славные приобретения. Теперь еще не время совещаться об этом в парламенте; но вотирование Савойи и Ниццы не имеет в себе ничего противного конституции. Это вотирование всегда может быть уничтожено парламентом, который вовсе не будет связан мнением жителей этих областей. Утверждение палат составляет условие уступки, выраженное в самом трактате. Что же касается до интриг, веденных агентами разных партий, то правительство не отвечает за них; оно озабочится, чтобы голоса подавались в Савойе и в Ницце совершенно свободно. Правда, что некоторые действия временных начальств в

Ницце заслуживают порицания: Любонис не только превысил власть, дававшуюся ему инструкциями, он совершенно отступил от них. Но он пользовался репутацией честного и беспристрастного человека и все его прежнее поведение оправдывало выбор, по которому он был назначен правителем Ниццы; а за свое отступление от инструкций он подвергнут строгому выговору.

Кавур заключил требованием, чтобы совещания по вопросу о Ницце были отложены. Против него говорил Лавренти Робанди, депутат Ниццы, и другие члены левой стороны; в защиту графа Кавура — другие министры и некоторые из депутатов министерской партии. Мамиани, министр народного просвещения, знаменитый публицист умеренной либеральной партии во времена, предшествовавшие 1848 году, сказал речь очень неловкую и показывавшую, что он уже не умеет держать себя с тактом при нынешних обстоятельствах. Он неловким образом сосредоточил защиту министерству на аргументе, в котором действительно заключается сущность дела по мнению Кавура и большинства итальянцев, но который не очень лестен для национального чувства. Теперь не время, сказал Мамиани, рассуждать о законе. Трактат продиктован необходимою; мы должны покориться. Впрочем, жители Ниццы имеют большую симпатию к Франции. Французская нация могущественная амазонка, прелести которой неодолимы. Италия имеет бесчисленных врагов. Должна ли она поссориться с единственным своим союзником и остаться беспомощной? Прочтите приказ Ламорисьера. Неужели вы захотите разрушить все сделанное нами? Неужели мы захотим видеть восстановление власти папы, австрийцев и неаполитанцев в Центральной Италии, захотим видеть тюрьмы, наполненные патриотами, эшафоты, залитые кровью? Нет, лучше отдадим Ниццу на волю судьбы, которая приятна многим из ее жителей».

Прения были заключены вторичною речью Кавура. Повторив прежние свои мысли, он сказал: «Я пользовался большою популярностью и чувствую, что это дело губит ее». Большинство голосов было принято требование Кавура отсрочить совещания по вопросу о Ницце, но впечатление было не в пользу министерства. При выходе из залы Гарибальди был с триумфом принят толпою, собравшеюся перед дворцом, а популярность Кавура действительно подверглась сильному колебанию. Вот что писал туринский корреспондент «Times'a»:

*«Турин. 13 апреля.*

Вчерашнее заседание палаты депутатов произвело на всех тяжелое, печальное впечатление, от которого до сих пор люди еще не оправались. Правительство слишком легко одержало победу, но такую победу, которая не приносит ему радости. Граф Кавур принужден насильственно тяготеть над решениями парламента, над вотированием жителей Савойи и Ниццы; но это насилие ему самому тяжело всех. Если бы по крайней мере он мог высказаться, мог сознаться, как отнята у него всякая свобода решения волею Франции, он легко обратил бы самых закоренелых своих противников от оппозиции к искреннему сочувствию; но он не может высказать этого ни в палате, ни даже на страницах официальной газеты и изливает свои чувства, укрождает гнев своих соотечественников только в краткой статье полуофициального «*Opinione*». Я выпишу несколько строк из этой статьи:

«Прения, возбужденные вопросом Гарибальди (говорит «*Opinione*»), были продолжительным гневным стоном депутатов Ниццы, отзывавшимся в душе всех представителей нации. Не будем прикрывать этого дела не идущими к нему именами, назовем его настоящим именем: это великое, приносящее пожертвование, приносимое нацией для общего блага. Этим объясняется огромное большинство голосов, поданных вчера за правительство. Большинство палаты исполнило тяжкую, но неизбежную обязанность, и

пусть не хвалится оппозиция своею ролью. Оппозиция могла безопасно высказать свои чувства, но только потому, что знала, что останется в меньшинстве, и она сама была рада, что останется в меньшинстве».

Действительно, это так. Правительство скорбит в своей победе над оппозицией. Оппозиция была бы уничтожена, если бы могла иметь большинство. Мамиани по недogaдливости сказал правду с аркадскою наивностью: «Франция амазонка, ужасная амазонка, внушающая страх даже своими обольстительными улыбками». Пожалею о Кавуре, принужденном любезничать с этою страшною амазонкою! Если б он мог предугадывать, что не только должен будет уступить Савойю и Ниццу, но что это жертвование будет сопровождаться нарушением всех государственных законов, нарушением всяких правил справедливости, истины и чести, если б он знал это и обдуманно довел себя до нынешнего положения, он был бы недостоин называться человеком. Но он по натуре расположен к рискованной игре. Ставка была велика, выигрыш соблазнителен, а он привык надеяться на свое счастье. Его удачи в Ломбардии и в Центральной Италии оправдывали его уверенность в своем счастье, но теперь пришло ему расплаты.

Если б он мог хотя надеяться, что этою уступкою оградились от дальнейших требований! Никто не мог без содрогания слышать слова Мамиани: «Италия должна выбирать между Францией и совершенной беспомощностью». Меллана, член левой стороны, справедливо спросил: «где же будет конец французской стороне Альп? При Наполеоне I она простиралась на всю Лигурию и даже на эту священную Пьемонтскую землю, в которой мы теперь еще можем говорить свободно. Мамнани сделал намек, что Италии нужна французская помощь для освобождения Венеции, Рима и Неаполя. Но можно ли ручаться за то, что Наполеон III никогда не вздумает соединиться с Австриею, папою и Бурбонами против Италии?»

Оппозиция легко приобрела всю нравственную честь в прениях по вопросу Гарибальди. Она говорила то, что действительно думает, и сердца слушателей, сердца самих противников были на ее стороне. Мужественная неловкость Гарибальди, страстный тон Лавренти Робанди, трибунское красноречие Мелланы, суровая правдивость Манчини — все содействовало усилению впечатлений».

«Груди каждого благородного итальянца нанесена кровавая рана результатом прений по вопросу Гарибальди (продолжает корреспондент «Times'a» в письме 14 апреля). Я постоянно вижусь с людьми всех партий и могу уверить вас, что от каждого слышу я одно и то же горькое замечание: «неужели таково должно было быть первое решение первого итальянского парламента?» Гарибальди уехал вчера в Ниццу; он не имел никакой надежды разрушить интриги, когорыми агенты сардинского правительства отдают французам Ниццу, связанную по рукам и по ногам. Гарибальди говорил, что покинет не только Ниццу, но и самую Италию, уедет назад в Монтевидео, в Южную Америку. Теперь судьба Ниццы уже решена безвозвратно. Но итальянцы все еще не имеют силы примириться с этим фактом, и неудовольствие владеет во всех умах.

«Граф Кавур, — говорит «Diritto», — мог бы по крайней мере созвать палату и тайный комитет и сказать: господа! тяжкая необходимость, но неотвратимая необходимость принуждает нас уступить Ниццу Франции. Можете ли вы указать мне средство победить эту необходимость? Я готов послушаться всякого рассудительного совета. Но если вы, подобно мне, думаете, что от этой неизбежной жертвы зависит безопасность нашей страны, то принесем эту жертву молча, принесем ее так, чтобы видно было, что мы только уступаем насилью, которому не в силах противиться; отдадим то, чего у нас требуют, но по крайней мере без постыдных прикрытий парламентскими совещаниями и народным вотированием».

Я так уважаю графа Кавура, что не хочу говорить с его противниками, будто бы он «не жертва, а соучастник насилия». Если он и участвует в нем, то по крайней мере не добровольно. Расчет французской политики

в том, чтобы не только отнять заальпийские провинции у Пьемонта, но и компрометировать в общественном мнении сардинского короля, его министров и либеральные сардинские учреждения. Тут расчет верный: дело свободы должно пострадать оттого, что либеральный министр принужден лгать, а парламент играть глупую роль. Притом же французы будут гордиться, видя, как господствует их правительство над иноземными державами, а это полезно для популярности императора. Франция хочет иметь Савойю и Ниццу и будет иметь их, потому что может по своей воле создавать и низлагать итальянских государей, — это льстит национальному тщеславию. Не на графа Кавура должно падать порицание за уступку Савойи и Ниццы и за множество неблагоприятных вещей, которые принуждено делать сардинское правительство».

Мы не будем рассуждать о том, хорошо или дурно сделал Кавур, решившись купить расширение государства на юг и восток продажей савойяров, которые не имели никакой охоты переходить под власть императора французов; мы уже несколько раз говорили об этом. Уступка Ниццы не требует никаких рассуждений: тут характер дела совершенно ясен. Читатель знает, что Кавур не достиг этой продажей той цели, какую предполагал, не приобрел дружбы императора Наполеона, который попрежнему не одобряет данного против его воли сардинским правительством соглашения на соединение Центральной Италии с Северною. Когда трактат об уступке Савойи и Ниццы был уже напечатан, французское правительство объявило, что гарантирует только соединение Ломбардии с Пьемонтом, совершившееся по воле Наполеона III, но не гарантирует присоединения Тосканы и Романьи, — это служит довольно ясным приглашением папе и австрийцам стараться о восстановлении прежнего порядка дел в Центральной Италии. До самого последнего времени мы читали известия в том же смысле.

Какая судьба ожидает Швейцарию, юго-западная граница которой открывается вторжению французских войск через уступку нейтрализованных савойских округов? Говорят, что соберется конференция для рассмотрения жалоб швейцарцев и для приискания средств оградить их безопасность. Когда будет определеннее известно, что конференция действительно соберется, мы еще будем иметь время посмотреть, чего можно ожидать от нее. Теперь еще нельзя ручаться и за то, что конференция соберется, — мы уже видели два или три раза в прошедшем году, что предполагавшиеся конгрессы или конференции подобного рода расстраивались. Но если бы конференция и действительно собралась, то, судя по нынешним предложениям о ней, нельзя ожидать, чтобы она успела что-нибудь сделать для ограждения Швейцарии от опасности, представляемой новым, слишком могущественным соседством.

Теперь положительно известно, что Австрия, ободряемая расположением императора французов к новому итальянскому королевству, готовится начать войну для восстановления прежних властей в Центральной Италии. Удастся ли ей начать войну,

или она будет удержана от нее внутренними своими затруднениями, — этого не знают и австрийские министры; но что их правительство хочет войны, это дело явное для всех. Поводы к войне возникают уже и теперь в достаточном количестве, мы перечисляли их несколько раз, — а скоро они должны явиться еще в большем числе. Ламорисьер организует теперь армию для папы, а дела в Риме и в Неаполе имеют вид, предвещающий сильные вспышки. Мы на этот раз ограничимся приведением газетных известий без всяких комментариев.

Читателю известно, что в Риме 19 марта был устроен папскою полициею для недовольных вечер, несколько напоминающий Варфоломеевскую ночь. Вот подробный рассказ о нем, сообщаемый корреспондентом «Times'a»:

«Рим, 20 марта.

Вчера Рим был театром кровавой драмы. Я был зрителем всей этой сцены и, подвергаясь большой опасности, находился в таком положении, что могу сообщить вам подробный и верный рассказ.

16 марта предводители патриотической партии издали следующую прокламацию:

«Римляне! Генерал Гарибальди устроил подписку для покупки миллиона ружей на приобретение национальной независимости. Принесем наш пожертвования на алтарь отечества и будем помнить, что теперь мы можем только давать доказательства самоотверженности и терпения. Стремясь к своей великой цели, к созданию итальянской независимости и свободы, мы должны хранить благородное и величественное спокойствие, которое приобрело нам благодарность других родных наших городов и симпатию всех образованных наций. Надеясь на справедливость нашего дела и на патриотическое усердие людей, ведущих его к торжеству, будем в единодушии и тишине ждать того приближающегося дня, который соединит нас с остальными членами итальянской семьи».

Правительство, раздраженное появлением этой печатной прокламации, которая была прибита на всех улицах, прибегло к арестам и обыскам. Обыски доставили ему сведения о том, что готовится большая демонстрация на тот день, когда придет известие о результате подачи голосов в Центральной Италии. Действительно, патриоты решили произвести вчера, в понедельник, торжественное, но спокойное шествие по Корсо в честь соединения Центральной Италии с Северной. Они положили начать эту процессию в пять часов вечера и кончить в семь. Они сделали распоряжение, чтобы демонстрация происходила «с обыкновенным спокойствием и совершенною умеренностью, с избеганием всяких даже малейших поводов к беспорядку». Утром студенты, бывшие по обыкновению в церкви, по окончании обедни стали служить благодарственный молебен по поводу присоединения Центральной Италии. Прелат, управляющий церковью, прибежал в бешенстве, вскочил на скамьи и, бегая по ним, кричал: «прочь, прочь отсюда, осквернители храма! Вы богохульствуете в доме божем!» То, что называл он богохульством, было пение церковного гимна «Тебя, бога, хвалим». Обезав по скамьям, прелат бросился из церкви, кричал, чтобы призывали полицию; когда студенты вышли из церкви и увидели его в таком бешенстве на улице, они осvistали его.

Настало пять часов вечера. Правительство, звавшее о предположенной демонстрации, распустило слух, что она будет происходить не на Корсо, а за Porta Pia \*; оно хотело этим ослабить собиравшихся на Корсо патриотов, чтобы они были беззащитны.

\* Ворота благочестия. (Прим. ред.)

Итак, настало пять часов, и Корсо, по обыкновению, был уже наполнен экипажами прогуливающих; экипажи, по обыкновению, ехали шагом в два ряда: один ряд вверх, другой ряд вниз по улице. Тротуары были наполнены гуляющими горожанами с женами и детьми; число прогуливавшихся женщин было, по обыкновению, гораздо больше числа мужчин. Не было нигде видно ни одного папского жандрама, ни одного сбирра. Французские патрули стояли на обыкновенных своих местах; прогуливавшиеся совершенно ничего не предчувствовали. Вдруг, в конце шестого часа, из всех соседних улиц, из всех переулков ринулись на Корсо толпы папских жандармов, неистово гоня встречавшихся им гуляющих и всячески стараясь поднять драку с ними. Но толпа чрезвычайно терпеливо сторонилась от них, избегая всякого столкновения.

Близ Piazza Colonna стояла группа известных жандармских сыщиков, переодетых в штатское платье. Тут был Нордони, слишком хорошо известный во всяком costume; с ним были Стринати, Джанелли, Валентини и Галанги; за ними стоял отряд карабинеров и бесчисленная толпа сбирров. Несколько молодых людей проходили перед группою переодетых сыщиков. Нордони закричал им, чтобы они разошлись. Но они и без того шли не вместе, а каждый порознь, потому не поняли, да и никак не могли исполнить этого приказания. Нордони велел своим сбиррам арестовать их. Жандармы схватили за ворот десять человек из молодежи. Народ столпился около этой сцены, поднялся крик, шум; жандармы вынули свои палаши, народ бросился на них, стеснил их, прижал к стене; восемь человек из арестованных были освобождены, но двое уведены солдатами в полицейскую казарму, находящуюся на Monte Citorio\*. Между тем пробудился ропот в народе, образовались большие толпы. Нордони с своею командою исчезает. Французские патрули также уходят. У Monte Citorio несколько французских офицеров стараются успокоить толпу обещанием, что папские жандармы будут отведены из этих мест. Это обещание было исполнено: папские жандармы исчезли; полицейскую казарму заняли французские солдаты; народ аплодировал французам. Смятение около полицейской казармы прекращалось.

Между тем по соседству, на Piazza Colonna, появились новые отряды папских жандармов и бросились на народ, гоня его с площади на Корсо. Они прокладывали себе путь через толпу и через ряды экипажей, рубя своими палашами, а за ними бежали переодетые сбирры с кинжалами и кололи людей. Не умею сказать вам, сколько человек ранено, но, должно быть, очень много. Кровь кипит во мне от мысли о том, что я видел. Повсюду текла кровь, на земле лежали раненые женщины и дети. Я сам видел, что также ранено было трое французских офицеров. Они бросались между народом и жандармами, стараясь остановить резню. Благодаря их усилиям, восстановился наконец порядок. Они показывали сочувствие народу, обещали требовать наказания убийцам, говорили, что будут свидетельствовать о тишине, с какою держал себя народ, о том, что резня начата была полициею без всякого повода. Ночью произведены новые аресты. Многие уважаемые люди получили приказание выехать из Рима. Говорят, что ранено от 50 до 60 человек, в том числе женщины, дети и несколько французских офицеров. Фамилия двух молодых людей, арестованных на Piazza Colonna, — Барбери».

«Рим. 23 марта.

По донесениям докторов, представленным правительству, число лиц, раненных в резне 19 марта, показывалось вчера в 128 человек; ныне, как говорят, насчитывают уже 147 человек.

Теперь достоверно известно, что это столкновение было преднамеренно вызвано папскою полициею и что римское правительство хладнокровно при-

\* Гора Циторио. (Прим. ред.)

думало бесчеловечную хитрость, чтобы поразить ужасом недовольное население. Жандармы и сбирры все-таки имеют человеческую душу, у них есть родственники или знакомые, и они поутру предупреждали их о том, что должно произойти вечером.

На Piazza Colonna стоит французский караул. Видя множество людей, устремившихся на эту площадь из переулка, ведущего от Monte Citorio, капитан Горд, начальствовавший караулом, велел своим солдатам очистить площадь от народа, двинувшись на него со штыками. Отступая перед войсками с площади, толпа искала спасения в узкой улице Корсо, которая была уже переполнена людьми, лошадьми и экипажами; оттого произошло смятение, имевшее гибельные следствия: в эту самую минуту конные и пешие папские жандармы ринулись на Корсо от Monte Citorio, гоня перед собою толпу. Они рубили направо и налево с криками: «по домам, канальи! по домам, бездельники!» Бежавшие с Monte Citorio втиснулись в ряды бежавших с Piazza Colonna, и этот удвоенный поток испуганных беспомощных людей бежал по Корсо, сбивая с ног встречавшихся ему ничего не знавших граждан, прогуливавшихся по улице. Множество народа искало убежища в обширных залах дворцов Киджи, Пиомбино и Феррайоли, некоторые скрывались в кофейных и табачных лавочках, которые одни были открыты в этот день (19 марта у католиков праздник св. Иосифа). На Корсо была страшная давка. Лошади бесились, били и топтали людей; треск экипажей, стук ломающихся колес смешивался с визгом детей, с криками женщин, а жандармы скакали среди этой давки, кололи и рубили кого попало. В кофейной Ciglio d'Ogo\* было шестеро французских солдат. «Дайте нам ваши сабли или защищайте нас», — сказали римляне, сидевшие также в кофейной. Солдаты стали перед дверями, и она осталась неприкосновенной. Когда разнесся крик по всей улице среди людей, ничего не знавших о причине смятения, молодежь повсюду кричала: «дайте нам ружья!» В некоторых кофейных двери были загромождены стульями и столами. Я сам был на Piazza Colonna. Толпа увлекла меня я сам не знал куда. Я хотел укрыться под воротами палатца Феррайоли. Подле меня был молодой человек, толкавший меня вперед с криком: «идите скорее, чтобы спастись мне». Мимо нас проскакал конный жандарм; я оглянулся: молодой человек лежал на земле с разрубленным лицом. Я бросился на убийцу, но этот негодяй повернул лошадь, а передо мной уже стояли два сбирры, переодетые в штатское платье, со шпагами, вынутыми из палок, в которых прячут они свое оружие. Они бросились на меня, но между нас бешено проскакала коляска с дамами, лишившимися чувств. Я вскочил на подножку коляски, она унесла меня от неприятелей, и я нашел убежище в той кофейной, которую охраняли шестеро французских солдат.

Кроме главной атаки, которую сделали жандармы от Citorio на Piazza Colonna, другие отряды жандармов произвели еще множество атак, бросаясь со всех сторон на Корсо. За жандармами бежали и бросались на народ полицейские с кинжалами. Выбегая из своих засад с криком: «прочь, канальи! прочь, негодяи!», они бросались между экипажами и кололи мужчин и женщин, детей и стариков без всякого разбора. Один из жандармов врывался в кофейную Баньоли, другой несколько раз тыкал своим палахом в окно кофейной de Scacchi, третий врывался в табачную лавочку Пиччони. По всему Корсо носился один крик: «пощадите женщин!» Но взад и вперед по улице бегали полицейские чиновники и кричали: «надо покончить с ними: режьте всех!» Смятение и резня перешли с Корсо на соседние улицы, и повсюду повторялись те же кровавые сцены.

Очищенный палахами и кинжалами, Корсо оставался пуст лишь несколько минут. Через четверть часа он снова наполнился людьми, которые вооружились палками и ножами; глаза их горели мщением. Они расспраши-

\* Золотая линия. (Прим. ред.)



валя друг у друга, что такое случилось, и проклинали себя за то, что дались в обман, не приготовившись к защите.

Между тем носили раненых в госпитали и в аптеки. Я видел несколько карет, наполненных ранеными женщинами. Я видел, как подняли у одной двери женщину с разрубленной левой грудью; подле нее лежал ребенок с разрубленным затылком: оба они были, кажется, уже мертвы. Студент Черепиа получил два сабельные удара и рану кинжалом в левую руку. Другой студент, Цаккалеони, был убит, когда уже лежал на земае. Один священник был ранен саблей и сбит с ног ударами приклада. Американский вице-консул получил тяжелую рану в бок. Кормилица с младенцем, ехавшая в коляске, была вместе с ребенком убита одним ударом; дама, ехавшая в другой коляске, получила по ногам сабельный удар, нанесший тяжелые раны обоим ногам ее. Другую даму везли по улице в обмороке, — в этом состоянии она получила в грудь рану от палаша одного жандарма. Был убит ребенок на руках матери. Два старика сидели в кофейной близ церкви Иисуса и Марии, играя в шашки. Вдруг ворвался жандарм, убил их обоих своим палашом и продолжал рубить их тела с таким бешенством, что разбил в куски мраморную шашечницу, на которой они играли.

Замечательно было, как вели себя французские войска во время всех этих ужасов. При самом начале, когда два молодые человека, Бербери, были схвачены жандармами у Monte Citorio, французский капитан Ренар бросился в толпу, убеждая народ быть благоразумным и уверяя его, что арестованные будут освобождены. Увидев проходивший сильный французский патруль, Ренар обратился к солдатам с словами: «будьте осмотрительны, потому что папские жандармы хотят поднять восстание». Когда началось смятение, французские патрули, проходившие по Корсо, или оставались бездейственными или скрывались, не помогая и не мешая жандармам. Через несколько времени французский отряд явился на Monte Citorio, прогнал оттуда папских жандармов и кроткими средствами убедил разойтись народ, явившийся отместить жандармам. Несколько человек прогуливавших[ся] французских солдат и офицеров были ранены папскими жандармами. Один французский майор был ранен в голову сабельным ударом, другой офицер, племянник дивизионного генерала, ранен в левую руку. Весь корпус французских офицеров выказывает сильнейшее негодование и сильно порицает Гойона, который не принял, по словам офицеров, нужных мер для предупреждения такого незаконного дела. Капитан Горд, обративший французские штыки против народа при начале восстания, получил 16 вызовов на дуэль от своих товарищей, исключен из офицерского клуба и от общего офицерского стола. Офицеры написали протест против действий дивизионного генерала, все подписались под ним, и он передан генералу командиром 40-го полка. Гойэн издал приказ, в котором выражает сожаление «о происшедших неистовствах», но его выражения двусмысленны, и он в сущности хвалит жандармов. Тотчас по совершении резни, вечером 19 числа, он ездил в жандармскую казарму и выразил свое одобрение их поступку; они получили также благодарность от папы и по пяти скуди на человека в награду за свой подвиг».

«Рим. 27 марта.

Мало здесь людей, которые сомневались бы в том, от какой причины произошло кровавое дело 19 марта. Папское правительство думает, что французские войска могут в самом деле быть выведены из Рима, и вздумало воспользоваться их присутствием, чтобы навести на город ужас, который помог бы держать римлян в страхе и по удалении французоз. Папское правительство еще не насытилось кровью, пролитою 19 марта, и усиливалось устроить новую резню после того. Особенно старалось оно об этом в субботу 24 марта, чтобы поймать народ в ловушку на другой день, в воскресенье. В субботу по улицам были прибиты печатные афиши, говорившие: «Римляне! не берите завтра с собою гулять женщин и детей, потому что мы должны

отмстить. Жандармы, завтра мы ждем вас на Корсо». Эти афиши спокойно висели на стенах, полиция не срывала их; я сам своими глазами видел их еще в воскресенье. А надобно заметить, что всю предыдущую ночь Корсо было все наполнено войсками. В пять часов утра, в воскресенье, привезены были в казармы на Piazza del Popolo \* две пушки, — ясный признак намерений правительства. Транстеверинцы и другие простолюдины, думая, что афиши действительно прибиты комитетом либеральной партии, готовились к мщению. Афиши эти были рассеяны и по окрестностям Рима, так что из многих деревень пришли в город вооруженные люди. Но либеральный комитет, поняв цель, с которой строится это дело, и зная, кто его строит, поспешил напечатать и роздал следующую прокламацию:

«Римляне! Было совершено свирепое и кровавое беззаконие. Вы желаете мщения и должны получить его. Тяжело нам укрощать страсти народа, вызываемого к насилию самим правительством; но в общественной жизни, так же как в частной, мы должны уметь терпеть и ждать, обуздывать наши чувства и предаваться им только тогда, когда является надежда на успех. Если бы целью нашей было только показать кардиналам, что мы не боимся их головорезов, этих сбирров, которых они с жестокостью, незнакомого даже австрийцам, вооружили кинжалами, — если б только это было нашей целью, то, вы знаете, дело было бы коротко и легко. Но мы хотим того, чтобы освободить Рим от их ига. Время это уже недалеко, но оно еще не пришло. Теперь движение было бы несвоевременно; оно могло бы даже увеличить затруднения, с которыми должны бороться благородные защитники национального дела, могло бы ввести нас в столкновение с французами. Покажите же теперь свое благородие. Люди, вызывающие вас теперь на битву, увидят в свое время, есть ли у вас недостаток в мужестве; эти люди, вызывающие вас к мщению, действуют по инструкциям правительства; они хотели бы снова пролить благородную римскую кровь, пролить ее не на благо родины, а во зло ей. Эти вызовы идут от клерикальной и австрийской партии, от врагов нашего возрождения. Остерегайтесь их».

Эта прокламация имела поразительное действие. Вечером Корсо был почти пуст. Таким образом, замысел папского правительства расстроился».

Совершенно таким же образом было устроено неаполитанскою полициею дело, называемое сицилийским восстанием. До сих пор мы не имеем полных известий о всем ходе его и даже не знаем достоверно, в каком положении находятся инсургенты теперь, — но вот лучшие из тех известий, которые дошли до газет в то время, когда мы писали эти строки. Восстание началось в Палермо, — мы имеем об этой начальной части его следующее письмо, напечатанное в «Indépendance Belge»:

«Палермо, 21 апреля.

Попытка восстания, произведенная 4 апреля в Палермо, может по последним известиям считаться решительно неудавшеюся, хотя восстание распространялось по окрестностям Палермо и по другим частям острова и хотя неаполитанское правительство было принуждено в последние дни посылать много подкреплений в Сицилию. В Мессине сформирована летучая колонна для преследования инсургентов, удалившихся за город и ведущих партизанскую войну.

Я провел в Палермо три месяца и был зрителем первых двух дней этой неудачной попытки, потому могу войти в некоторые подробности об обстоятельствах, предшествовавших восстанию и сопровождавших его. Если бы

\* Народная площадь. (Прим. ред.)

хорошее правительство помогало развитию естественных богатств Сицилии, она снова стала бы житницей Европы, как была в древности. Трудно представить себе, как роскошна и прекрасна здесь растительность, как плодородна почва, как богаты рудники; но человек, приехавший в Сицилию, бывает поражен отвратительным состоянием дорог, постоянными правительственными стеснениями, грабительством чиновников, притеснительными законами, мешающими всякому развитию. Сицилиец, очень умеренный по природе, еще мог бы выносить это положение вещей, если бы не подвергалась постоянным опасностям его личная свобода, если бы не преследовались он сам и его родные и не возмущался его патриотизм. Сицилийцами легко было бы управлять, потому что нравы у них патриархальные, а характер вовсе не требователен. Но неаполитанское правительство умело стать ненавистным всему народу. Оно само причиной тому; оно как будто бы поражено совершенно слепотою; оно поступает с Сицилией не как с родною провинциею, а как с завоеванною странюю. Полиция произвольно преследует всякого честного человека, арестует и мучит людей без всякого повода, не допросив их, не только не подвергнув суду. Причина преследований одна: подозрение в патриотизме. Гонения особенно усилились после поражения австрийцев в Ломбардии, потому что сицилийцы радовались победам над ними. Трудно сказать, сколько тысяч людей брошено за это в тюрьмы: в конце марта в одном Палермо содержалось полторы тысячи политических преступников. Я сам видел, как арестовали самых скромных людей без всякого суда, как месяца по три держали человека в тюрьме просто за то, что его брат успел бежать из Сицилии от полицейского преследования. Расскажу вам один факт.

В начале марта был арестован г. Мальйоко; в тюрьму к нему не допускали никого. Брат его, адвокат, отправился к Манискалько, директору полиции, с просьбою быть допущену к брату перед началом суда о нем, чтобы он мог приготовиться к защите против обвинения, оставшегося неизвестным ему. «Кто же вам сказал, что ваш брат будет судиться?» — спросил у него директор полиции. — «Я полагал, что так следует по закону». — «Полиция выше закона», — отвечал Манискалько. Этот человек пользовался неограниченною властью.

В конце марта жители Палермо были встревожены многочисленными арестами, обысками и тем, что люди, имевшие средства, уезжали из города. Вице-король сицилийский, герцог Кастельчикала, уехал в Неаполь, и город остался в полной власти Манискалько и его сбиров, набранных из гнуснейших разбойников и контрабандистов. Отчаяние заставило думать о шансах революции, но все рассудительные люди доказывали явную невозможность успеха, и потому никто не ждал близкого взрыва. Но в деревнях было такое же недовольство, как в городах, и поселяне не хотели слушать советов об отсрочке восстания; стали говорить, что будет восстание 3 апреля, но все в Палермо было убеждены, что попытка будет неудачна. Жители города запирались в своих домах, вперед закупили себе провизии на этот гибельный день.

Полиция, зная обо всем, умела расстроить план заговорщиков; они хотели начать восстание в деревнях, она произвела резню в самом городе, начав стрелять по монастырю, в котором спряталось человек 60 заговорщиков, думавших начать дело тогда, когда войска уйдут из города усмирять восстание в деревнях. После ожесточенного боя, длившегося два с половиною часа, монастырь этот (Гуанчский монастырь) был взят, и все инсургенты, которые не были убиты, были захвачены в плен и отведены в цитадель; в числе их было несколько монахов. Тотчас же было провозглашено в городе осадное положение, и через несколько времени 13 человек из взятых в плен инсургентов были расстреляны.

На другой день, 4 апреля в полдень, поселяне начали нападать на городскую гарнизон. Они в разных частях острова продолжают до сих пор бороться с войсками, но нельзя надеяться на их успех, если не получат они помощи из Италии; а едва ли они получают ее. Большая часть этих партизанских отрядов держится между Палермо и Джирдженти.

Я не буду говорить о диких свирепостях, совершавшихся солдатами. Горничная, служившая в одном бельгийском семействе, была тяжело ранена в своей комнате и на другой день умерла; другая горничная, родом из Баварии, служившая у княгини Петрульи, была также убита в своей комнате. Солдаты постоянно стреляли по всем улицам, хотя не было на улицах и тени восстания: они думали только о грабеже. Я был свидетелем таких сцен, которые вам покажутся решительно невероятными.

Нынешнее восстание происходит не с прежним лозунгом «да здравствует Сицилия!», а с лозунгом: «да здравствует Италия! да здравствует итальянское единство!»; знаменем инсургентов было трехцветное пьемонтское знамя».

О том, что происходило в Мессине, мы имеем сведения гораздо полнейшие, — они доставлены двумя письмами, помещенными в «Times'e»:

*«Мессина, 15 апреля.»*

Спешу сообщить вам подробности о невероятных сценах, происходивших в последние восемь дней, и ручаюсь вам за достоверность своих известий. Прежде всего я должен засвидетельствовать, что жители Мессины, хотя, разумеется, и были очень встревожены известиями из Палермо, продолжали постоянно выказывать самое миролюбивое расположение, видя у себя гарнизон, с которым не могли бороться. Всякому известно, что один огонь орудий цитадели и двух фортов, занимающих высоты, мог бы усмирить город, если б и не было сильного гарнизона. Потому все усилия жителей были направлены к одной цели, к сохранению тишины, и она казалась обеспеченною, когда полиция неслыханным образом действий внесла беспорядок и кровопролитие в мирный город.

По данному знаку были отперты все тюрьмы, и уголовные преступники, наполнявшие их, наводнили город. Это неслыханное дело не замедлило принести плоды, и вечером 8 числа патрули королевских войск были освидетаны, офицеры оскорблены и, говорят, двое из солдат убиты разбойниками, выпущенными на наш несчастный город по распоряжению полиции. У солдат недостатало терпения переносить эти обиды, войска начали стрелять по безоружной толпе, не хотевшей принимать битвы. Правда, солдаты направляли свои выстрелы так, чтобы пули не делали вреда, но полицейские служители поступали иначе, и от их выстрелов упало человек восемь или десять.

Полиция одержала первый свой успех: тотчас же город был объявлен находящимся на военном положении, учредились военно-судные комиссии и распространили такой ужас, что около третьей части жителей бежали из города в поле, рискуя умереть там с голода. В довершение бедствий гражданский губернатор Мессины, маркиз Артале, человек честного характера, был неожиданно отозван в Неаполь, и Мессина осталась беззащитною во власти военной диктатуры, руководимой полициею. Такое положение дел и поступки солдат увеличивали опасение жителей, и вид города становился все мрачнее и мрачнее.

Так длилось до 10 числа. Вечером в этот день горожане узнали, что английский и французский консулы, опасаясь за своих соотечественников, отправились к генералу Руссо, командующему войсками, и получили от него обещание, что ни цитадель, ни форты не будут стрелять по Мессине и что солдаты не будут врываться в дома. Такое известие совершенно успокоило жителей, занимавшихся обыкновенными своими работами и промыслами, как вдруг в девять часов вечера страшный ружейный огонь, сопровождаемый пушечными выстрелами, ужаснул город. Огонь этот продолжался до двух часов утра. Пули влетали во многие дома через окна: люди, лежавшие в постели, были убиваемы картечью; другие были застрелены, когда возвращались домой.

Таким образом, целую ночь подвергали всем ужасам битвы жителей совершенно мирного города. Было объявлено, что войска стреляют по инсург-

гентам; но эти инсургенты существовали, кажется, только в воображении полицейского начальства: по крайней мере не было ни одного из них убитого, раненого или взятого в плен. Эта страшная битва, эти ужасные пушечные залпы, этот ружейный огонь, — все эти ужасы, происходившие целых пять часов в городе, были просто полицейским фокусом; дело невероятное, но оно было именно так. Зачем же все это делалось? За тем ли только, чтобы написать торжествующее донесение, или для устрашения?

Скоро жители узнали, что утром 11 числа генерал Руссо взял назад обещание, которое накануне дал французскому и английскому консулам. Такое известие довершило ужас, и все спешили покинуть город; он почти опустел. Иностранцы пошли искать себе защиты на гавани под пушками английского корвета. Все консулы, находящиеся в Мессине, отправились к генералу Руссо. Он возобновил перед ними свои прежние обещания, но это не помешало в ночь с 11 на 12 возобновиться сценам предыдущей ночи. Следующие ночи были спокойны: полиция решилась, повидимому, оставить в покое граждан, не хотящих возмущаться.

За город послано несколько легучих колонн против мнимых инсургентов и беспрестанно приходят новые войска на подкрепление гарнизона. Полиция торжествует».

*«Мессина. 16 апреля.»*

Не знаю, как и когда дойдет к вам это письмо; но если нет у вас более свежих известий, вот вам подробности о мессинских происшествиях. Жалею, что не могу также сообщить вам сведений о событиях в Палермо, потому что с 5 апреля прерваны всякие сообщения между нами и столицей острова. 5 числа мы знали только, что началось в Палермо восстание, что королевские войска штурмовали монастырь Гуанчу, что после упорного боя инсургенты ушли из города, что в полях борьба между солдатами и инсургентами продолжается, что инсургенты одерживают в стычках верх и взяли до 200 солдат в плен.

Вы можете понять, какое глубокое впечатление было произведено этими известиями, с каким нетерпением ждали новых известий. Думали было начать восстание у нас, чтобы помочь столице, но легко было предвидеть, чем кончится наше восстание: у нас не было ни оружия, ни предводителей, ни плана; за нами наблюдал многочисленный гарнизон, и пушки цитадели могли не выпускать нас на улицу из домов, могли обратить в пепел весь город; потому надобно было ждать. Самые пламенные патриоты проповедывали спокойствие и порядок.

Но не того хотела полиция, выпустившая воров из тюрем, чтобы поднять восстание, которое послужило бы предлогом для резни. Когда выпустили воров, беспорядок стал неизбежен: негодяи, жаждавшие крови и грабежа, начали нападать на мирных жителей, а полиция пользовалась этим. Городское начальство в сопровождении почетнейших граждан явилось к Руссо, коменданту крепости, прося арестовать разбойников, которые с ножами в руках безнаказанно нападали на людей по улицам и грабили их. Но комендант сказал явившейся к нему депутации, чтобы она обратилась к полиции, прибавив: «не воров надобно арестовать, а либералов». У коменданта, очевидно, была своя цель.

А между тем еще в страстную субботу либеральный комитет отправил из Мессины в Катану несколько человек волонтеров, имевших оружие. Это служит ясным доказательством, что никто не хотел поднимать восстание в Мессине.

В день Пасхи пришла из Неаполя депеша, уведомлявшая полицию и военное начальство, что инсургенты в Палермо разбиты и рассеяны. Вечером в этот день полиция и вооруженные преступники, выпущенные из тюрем, стали по общему плану вызывать жителей на битву. Честные граждане не жалели ни денег, ни убеждений, чтобы избежать столкновения. Наконец во время спектакля положение приняло грозный вид: у театра собралась огромная толпа, хотевшая положить конец оскорблениям от полицейских и

выпущенных преступников. Офицер, командовавший сильным патрулем на театральной площади, велел толпе разойтись, грозя стрелять по ней в случае сопротивления. Некоторые из бывших в толпе вынули оружие, послышалось несколько криков, солдаты приложились и стали стрелять. Толпа обратилась в бегство. Тогда сбирры и освобожденные разбойники начали резать народ.

Город тотчас же наполнился войсками. Жители, возвращавшиеся домой, искали спасения в первой двери, куда можно было бежать. Патрули стреляли по улицам до восьми часов вечера, хотя никто не оказывал сопротивления.

Вот история первого дня Пасхи; теперь вы видите, каким именем надобно назвать мнимое Мессинское восстание.

На другой день прокламация коменданта Руссо объявила город находящимся в осадном положении. Другую прокламацию он приказывал войскам обезоружить жителей города и предместий. Третья прокламация от 10 числа приглашала бежавших жителей возвратиться в город к прежним занятиям. Но положение было опасно. Мессина была пустынею, в которой находились только солдаты и пушки. Производились обыски и аресты. В девять часов вечера возобновилась стрельба по улицам, форты также стреляли.

Эта тревога продолжалась всю ночь. Солдаты говорят, что на них нападали инсургенты; но куда же делись эти инсургенты? Не нашлось ни одного раненого из них, ни один не был взят в плен. Впрочем, это не помешало коменданту обнаружить утром 11 числа новый приказ, говоривший, что ночью королевские войска подвергались нападению и что при малейшем возобновлении такого случая Мессина будет бомбардирована.

При этой угрозе, напоминавшей страшные события 1848 года, ужас жителей достиг крайнего предела. Все жители эмигрировали; каждый искал спасения в поле или на иностранных кораблях, бывших в гавани.

Русский и австрийский консулы переехали из города на фрегаты. Другие собрались у французского консула г. Булара и подписали торжественную протестацию против образа действий генерала Руссо и его войск; они возлагали на генерала ответственность за бесчисленные и незаконные поступки против их соотечественников и мирных горожан, приведенных в ужас и отчаяние. Эта протестация имела результатом обнаружение следующей прокламации:

«Квартира военного коменданта крепости Мессины и Мессинского округа. Объявление. Мы, генерал-майор Паскуале Руссо, военный комендант Мессинской крепости и ее округа, будучи уверены в благонамеренности жителей Мессины, объявляем, что крайние меры строгости будут приняты только против злодеев, бродящих по окрестным полям и дошедших в своей дерзости до нападения на верные королевские войска. Потому мы приглашаем жителей успокоиться и возвратиться к своим обыкновенным занятиям, потому что они не должны иметь никаких опасений. Мессина, 11 апреля 1860, четыре часа вечера. Генерал-майор комендант Паскуале Руссо».

12 апреля и все три следующие дня прошли удовлетворительно. Не было сделано ни одного выстрела, и жители начинают успокаиваться».

Вот перевод протеста, представленного мессинскому коменданту консулами:

«Мессина, 12 апреля 1860. Генерал, в нынешнюю ночь в городе Мессине повторились большие насилия в противность надеждам, возбужденным в нас вашими уверениями, что мир и спокойствие восстанавлиются и что могут воротиться в город бежавшие из него, составляющие почти все его население. Люди, державшие себя покойно, и в том числе один старик, пали жертвами нападений, к которым не подавали никакого повода. Иностранные подданные, англичане и люди других наций, подвергались величайшим оскорбле-

ниям, и самая жизнь их была в опасности. Все население Мессины ведет себя мирно и до сих пор не совершило ничего похожего на восстание; потому оно вправе требовать, чтобы сохранялось уважение к его спокойствию, к женщинам, к детям и к собственности. А между тем господствует величайший ужас, и, чтобы успокоить наших соотечественников, мы должны точным образом объявить, какие уверения были нам даны вами. Вы обещали нам вашим честным словом, которому мы верили и не хотим не верить, что цитадель и форты не будут стрелять по городу, что ни в каком случае солдаты не будут врыватья в дома, что город не будет больше тревожим пушечными и ружейными выстрелами по домам, уже несколько дней не дающими ни одной спокойной минуты жителям города. Вы обещали также, что если будут происходить нападения на заставы (нападения внутри города невозможны), то не будут отвечать на них ружейными и пушечными выстрелами, а будут отражать нападающих другими средствами, найти которые легко вам по многочисленности ваших войск. Таковы были, генерал, обещания, данные вами нам, и вы нам позволяете вам их напомнить теперь, чтобы они получили характер достоверности. Они дают нам возможность содействовать вашим намерениям успокоить наших соотечественников и все городское население. Просим вас уведомить нас о получении вами этого документа».

Последние четыре недели вообще были богаты случаями подобного рода; вот подробнейший из прочитанных нами рассказов о пештском деле 15 марта; он напечатан в «Times'e»:

*«Пешт \*. 15 марта, 10 часов вечера.*

Пишу среди сильного волнения, чтобы рассказать вам, что сейчас здесь случилось. Была сделана демонстрация, и пролилась кровь. Венгерская революция 1848 года началась 15 марта, и университетская молодежь решилась воспользоваться годовщиною, чтобы сделать национальную демонстрацию. Они действовали в этом случае совершенно по собственным мыслям, без одобрения предводителей национального движения и даже не посоветовавшись с ними. Но они хотели, чтобы демонстрация имела совершенно мирный характер; они хотели только отслужить в католических церквях несколько панихид в память патриотов, казненных в Араде и Пеште и убитых на войне. Полиция встревожилась, зная, что одна искра может воспламенить всю страну. Потому со вчерашнего дня были сделаны страшные приготовления. Ныне в восемь часов утра собрались группы студентов, состоящие не из одних мадьяров, но также валахов, немцев и словаков, и пошли по разным католическим церквям отслужить панихиду. Но полиция не пустила их ни в одну из церквей, к которым они подходили. В десять часов утра собралось их человек до 200, они стали совещаться, что им делать, и решили все вместе отправиться в соседнюю церковь; по дороге присоединилось к ним много горожан. Надобно прибавить, что по торжественности этого дела большая часть студентов была в трауре. У ближайшей церкви, к которой отправились они, нашли они сильный отряд полиции, встретивший их криками: «убирайтесь, нет вам здесь места!» Тогда один из студентов, руководивших товарищами, сказал: «Друзья, пойдем отсюда, не начиная спора с этими людьми». Молодые люди и горожане мирно пошли в другую церковь, но и там их не пустили, потом еще в две церкви, куда их также не пустила полиция, наконец в кафедральную церковь, но и туда не были впущены. «Друзья,— сказал один из предводителей,— пойдем на кладбище: по крайней мере хотя там нам не помешают молиться за умерших». Они пошли на Францово кладбище, и по дороге их процессия с каждою минутою возрастала от присоединения к ней горожан; но вся она соблюдала совершеннейший порядок, и студенты

\* Будапешт. (Прим. ред.)

постоянно говорили народу, чтобы он не прибегал к силе, что бы ни случилось. Войска гарнизона были между тем выведены из казарм и занимали разные посты. Дошедши до кладбища, процессия с удивлением увидела, что оно занято сильными отрядами полиции и войск. Один из офицеров кричал: «Уходите прочь сейчас же или мы станем стрелять в вас». — «Нет, — сказал один студент, — вы не будете стрелять, потому что дурно было бы нападать на людей совершенно мирных». Единственным ответом на то было арестование нескольких студентов. Другие студенты бросились было выручать товарищей, но арестованные кричали: «не связывайтесь с полицией; оставьте нас, идите на другое кладбище». Процессия решила идти на Керепашское кладбище и отправилась туда в совершенном порядке. Пришедши на Керепашское кладбище, студенты и горожане увидели перед собою сильные отряды войск, которые, не говоря ни слова, бросились на массу в штыхи. Несколько студентов было ранено и еще несколько человек арестовано. Тогда раздраженные студенты бросились на один из отрядов, он дал по ним залп. Случайно или преднамеренно солдаты выстрелили выше голов, так что пули пролетели над народом. Но все-таки и тут был ранен один из бывших в толпе. Люди, составлявшие процессию, двинулись назад, и, как говорят, жандармы сделали еще залп вслед им. Все жители Пешта, услышав об этом деле, выразили сильное негодование на австрийское начальство, но, к счастью, удержались от насильственных действий. Впрочем, вечером собралась большая толпа у национального театра и, когда проезжали мимо нее в театр австрийские чиновники с семьями, горожане кричали: «вы думаете о забавах в такой день, когда пролита кровь патриотов... Стыдитесь! воротитесь назад!» Австрийцы вернулись. Но через несколько времени пришли к театру две роты жандармов и с большими грубостями разогнали толпу. Все находят, что австрийское начальство поступило очень дурно, велел стрелять по безоружным людям и колоть их штыхами. Оно, очевидно, желало раздражить народ, чтобы довести его до восстания и получить предлог к подавлению его военными средствами. Венское правительство думает, что залить кровью восстание в Пеште значило бы задушить национальное чувство по всей Венгрии».

Читатель знает, что после этого было введено в Венгрии уже чисто и открыто военное управление вместо прежнего, имевшего хотя по наружности мирные гражданские формы. Безграничная власть над Венгрией поручена генералу Бенедеку<sup>15</sup>. В самой Вене страшно разыгрывается дело о покражах по комиссариатскому и провиантскому ведомству в последнюю войну. Мы не упоминали о самоубийстве Эйнаттена, потому что для нас прискорбны подобные факты, раскрывающие слабые стороны правительства, пользующегося глубоким нашим уважением за свою последовательность, за определенительность и твердость своей системы. Но мы против воли должны упомянуть о самоубийстве барона Брука, министра финансов, столь славившегося своею мудростью: читатель не простил бы нам совершенного молчания о происшествии, наделавшем такого шума. Мы еще не находим в газетах подробных известий о прискорбной кончине человека, оказавшего столь важные услуги австрийской политике своими талантами, — мы знаем только, что он оказался прикосновенным к делу о комиссариатских злоупотреблениях, получил отставку и не перенес стыда. Но вот письмо, помещенное в «Times'e» и несколько поясняющее характер дел, раскрытие которых было причиною столь грустного события:



«Триэст. 29 марта.

Главным предметом разговора служит гигантское воровство, открытое в комиссариатском управлении. Оно без сомнения сильно содействовало внезапному окончанию итальянского похода. Теперь, несмотря на старания чрезвычайно сильных людей замять дело, обнаруживаются позорнейшие факты, в которых замешано множество лиц. Некоторые из этих лиц занимают такие высокие положения, что опасно и упомянуть о них. Австрийские газеты охоче скудны известиями об этих делах и, вероятно, вовсе не заговорили бы об них, если б не самоубийство генерала Эйнаттена, — происшествие, которого нельзя было скрыть. Недочет простирается до изумительной цифры 17 000 000 гульденов (более 10 миллионов рублей серебром). Но вот самая поразительная и малоизвестная часть этой истории. Из источников, заслуживающих полной веры, я слышал, что на знаменитом свидании двух воевавших императоров, — на этом свидании, результатом которого был Виллафранкский мир, император Наполеон сказал Францу-Иосифу: «ваше величество не ошибетесь, если выслушаете дружеские и благонамеренные советы. Вы окружены предателями. Ваше величество думаете, что у вас в крепости Мантуе запасено провианта на шесть месяцев; я скажу вам, — тут император Наполеон выразительно поднял палец, — я скажу вам, что в Мантуе нет провианта и на шесть дней. Удостоверьтесь в истине моих слов и поступите сообразно с ними». По исследовании дела слова императора французов оказались справедливыми.

Чтобы дать вам некоторое понятие о наглом бесстыдстве воровства и том, сколько лиц участвовали в нем, расскажу вам один случай из множества подобных. Быки, которых вгоняли в Мантую одними воротами, выходили из города через противоположные ворота и, сделав полукруг около стен, опять входили в первые ворота, так что каждый бык проходил и считался пять раз. Но, послушайте, дальше будет еще лучше. Один из триэстских купцов заключил с австрийским правительством контракт, по которому покупал шкуры быков, убитых для продовольствия войск. Будучи в живых, каждый бык исполнял дело за пятерых быков, но убить его можно было только один раз, и больше одной шкуры содрать с него было нельзя. Купеческая фирма, не получив условленного числа шкур, потребовала от правительства неустойки, которая контрактом полагалась по гульдону за каждую недоданную шкуру; неустойка была выдана, и купец получил 30 000 гульденов за невыдачу шкур с быков, которые не существовали на свете.

Сольферинская и Маджентская битвы<sup>16</sup> могли бы кончиться не тем, если бы голод не ослабил мужество австрийских солдат; но довольно об этом.

Очень распространен слух, которому иные верят. Я не причислю себя к верящим, но рассказ любопытен, и, быть может, лучше не слишком точно исследовать его справедливости. Говорят, что император Франц-Иосиф, встревоженный сном, который видел три ночи сряду, обратился к советам своей матери, эрцгерцогини Софии; она призвала гадалщицу, таинственной способности которой сама верит. Старуха спросила, что император видел во сне. Император сказал, что видел во сне трех мышей: одна была совершенно слепая, другая такая жирная и надутая, что едва могла ходить, а третья слабая, жалкая, почти умирающая с голоду. Старуха сконфузилась и стала говорить, что не умеет разгадать сон; но ее успокоили, уверяли, что опасаться ей нечего, а напротив, она будет награждена, что бы ни сказала; тогда, ободрившись, она дала такое истолкование: «слепая мышь — ваше величество; жирная мышь — ваши министры; а исхудавшая, умирающая, измученная мышь — ваш народ». Справедлив или несправедлив этот рассказ, но он подходит к нынешнему положению Австрии; а самая дурная вещь то, что слепая мышь до сих пор остается слепой. Если дела пойдут попрежнему, то не трудно будет исполниться предсказанию эрцгерцога Фердинанда-Максимилиана, который в июле прошлого года говорил Францу-Иосифу: «если ваше величество будете продолжать идти этим путем, вы погубите и себя и государство».